INSPIRIA

Шорт-лист
Букера
2020

АВНИ ДОШИ

«Впечатляющая, но и опасная книга».

Элизабет Гилберт, автор романа «Есть, молиться, любить»



ЖЖЕНЫЙ САХАР

INSPIRIA

Жженый сахар
Авни Доши

Аннотация
Авни Доши. Жженый сахар
1981
1986
1989
1989
1993
1995
1996
2002
2003
Благодарности

Аннотация

«Жженый сахар» — история о любви, непонимании и предательстве. Но не между любовниками, а между матерью и дочерью. Авни Доши поднимает острую и болезненную тему, которая до сих пор отчасти табуирована в обществе.

Главных героинь разделяют годы и совершенно разный жизненный опыт, но объединяет нерушимая естественная связь, которая становится для них в конечном счете разрушающей.

Авни Доши настоящая космополитка. Этническая индианка, она родилась в американском штате Нью-Джерси, а ныне проживает в Дубае.

«Жженый сахар» — ее дебютный роман, который издан более чем в 20 странах и попал в шорт-лист Букеровской премии. По книге планируется экранизация.

«Авни Доши семь лет писала свой первый роман, который был номинирован на Букеровскую премию. Поздравляем. Хорошее

начало». — *Euronews*

«Авни Доши не просто талантливый писатель, она творец. Ее фразы резкие, невероятно точные. Это история без прикрас». — *New York Times Review*

«Восхитительно и изысканно, невозможно оторваться». — *Observer*

«Тревожный дебют, поражающий своим ядом и обезоруживающий своим юмором». — *Guardian*

Авни Доши
Жженый сахар

Avni Doshi
Burnt Sugar

Copyright © by Avni Doshi, 2020 By agreement with Pontas Literary & Film Agency
Cover design © Holly Ovenden
Фотография на обложке: © Stanislas Augris / EyeEm / Gettyimages.ru.
Фотография на форзаце: © Benedikt Hilscher / EyeEm / Gettyimages.ru.
© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2021

* * *



«Жженый сахар» не получится прочесть со спокойным сердцем — эта история пройдется по нему, как скальпель. Но вы не захотите отложить эту книгу, она завораживает. Для меня дебютный роман Авни Доши стал одним из самых ярких открытий и заслуженной номинацией на Букеровскую премию.

Виктория Стрюкова, ведущий редактор Inspiria

«Авни Доши семь лет писала свой первый роман, который был номинирован на Букеровскую премию. Поздравляем. Хорошее начало».

Euronews

«Авши Доши не просто талантливый писатель, она творец. Ее фразы резкие, невероятно точные. Это история без прикрас».

New York Review

«Тревожный дебют, поражающий своим ядом и обезоруживающий своим юмором».

Guardian

«Впечатляющая, но и опасная книга».

Элизабет Гилберт, автор романа «Есть, молиться, любить»

* * *

Эту книгу я посвящаю Ниши,
Нарену и Пушпе Бесстрашной

Ma, ami tumar kachchey aamar porisoi diti
diti biakul oya dzai
Мама, я так устала, устала представ-
ляться тебе.

Рехна Султана. Мать

Я совру, если скажу, что не злорадствую, глядя на мамины беды.

Ребенком я столько всего от нее натерпелась, что каждая из теперешних ее напастей воспринимается мной как возмездие — восстановление равновесия во вселенной, где действует рациональный порядок причин и следствий.

Но я уже не могу сравнять счет.

Причина проста: мама все забывает, и я не знаю, как с этим бороться. Ее никак не заставишь вспомнить все то, что она делала в прошлом, а значит, и не навяжешь ей чувство вины. Раньше я ей постоянно напоминала о ее прежней жестокости — как бы вскользь, просто к слову в разговорах за чаем, — и наблюдала, как она хмурится. Теперь она просто не понимает, о чем я говорю; в ее глазах плещется чистая, незамутненная радость. Взгляд блуждает вдали. Если при этом присутствует кто-то из посторонних, он прикасается к моей руке и шепчет: «Не надо. Она не помнит, бедняжка».

Сочувствие, которое она вызывает у других, порождает во мне только горечь и злость.

Я заподозрила неладное еще год назад, когда она по ночам начала бродить по квартире. Кашта, ее домработница, звонила мне каждый раз,

жутко напуганная.

— Ваша мама ищет клеенку, — однажды сказала Кашта. — Боится, что вы описаете кровать.

Держа телефонную трубку подальше от уха, я нашарила на тумбочке свои очки. Рядом со мной тихо посапывал спящий муж, беруши у него в ушах светились в темноте.

— Ей, наверное, что-то приснилось, — сказала я.

Кашту это не убедило.

— Я не знала, что вы мочились в постель.

В ту ночь я уже не смогла уснуть. Даже в своем безумии мать умудрилась меня унизить.

Однажды к маме пришла уборщица, и она ее не узнала. Были и другие случаи: когда мама забыла, как платить за электричество, когда она поставила свою машину не на то место на стоянке у дома. Это было полгода назад.

Иногда я пытаюсь представить, что будет в конце, когда она превратится в гниющий овощ. Забудет, как говорить, как контролировать свой мочевой пузырь, и однажды забудет, как дышать. Человеческую дегенерацию можно замедлить, приостановить, но она необратима.

Дилип, мой муж, говорит, что мамину память надо тренировать. Я записываю разные случаи

из ее прошлого на маленьких листочках бумаги и прячу их по углам в ее квартире. Иногда она их находит, звонит мне и смеется.

— Даже не верится, что у моей дочери такой жуткий почерк.

В тот день, когда мама забыла название улицы, где прожила двадцать лет, она позвонила мне и сказала, что купила упаковку бритвенных лезвий и не побоится пустить их в дело, если ее состояние будет ухудшаться. Сказала и разрыдалась. В трубке слышались фоном гудки клаксонов, крики людей. Обычные уличные шумы. Мама закашлялась и сбилась с мысли. Я почти явственно слышала запах выхлопных газов из тарахтелки ее моторикши, почти ви-дела клубы черного дыма, как будто стояла с ней рядом. На мгновение мне стало плохо. Может быть, это худшее из страданий: наблюдать разрушение близкого человека, когда все ускользает и ты не знаешь, что делать. С другой стороны, я точно знала, что это ложь. Мама не стала бы тратиться понапрасну. Зачем покупать целую упаковку, если хватит одного лезвия? У нее всегда была склонность проявлять чувства на людях. Я придумала такой компромисс: сказала маме, чтобы она не устраивала спектакль, но сделала себе мысленную пометку,

что в следующий раз, когда я приду к ней, надо будет поискать лезвия и потихонечку выкинуть все, что найдется. Если что-то найдется.

С мамой я только и делаю, что подмечаю подробности: когда она засыпает ночью, с очками для чтения, съехавшими с ее сального носа, сколько слоеных пирожных она ест на завтрак, — я пытаюсь отслеживать каждую мелочь. Я знаю, как уходить от ответственности; знаю, где именно шероховатая поверхность истории отполирована до зеркального блеска.

Иногда, когда я ее навещаю, она просит меня позвонить ее старым подругам, которых давно нет в живых.

Когда-то мама с первого раза запоминала любой кулинарный рецепт. Без труда вспоминала составы чаев, которыми ее угощали в гостях. Готовя еду, она брала нужные специи с полки не глядя.

Она помнила, как соседи-меманы — к ужасу домовладельца-джайна — резали коз в Курбан-байрам на балконе над прежней квартирой ее родителей и как портной-мусульманин с жесткими, словно проволока, волосами однажды вручил ей маленький ржавый тазик, чтобы собирать кровь. Она помнила металлический привкус во

рту. Помнила, как облизала свои алые пальцы.

— Моя первая в жизни невегетарианская еда, — сказала она.

Мы сидели у реки в Аланди. Паломники мылись, скорбящие высыпали прах в мутную воду. Река цвета гангрены вяло несла свои воды куда-то вдаль. Маме хотелось хоть ненадолго сбежать из дома, от бабушки, от разговоров о моем отце. Это было в тот промежуточный период, когда мы уже ушли из ашрама, но меня еще не отослали в монастырскую школу. У нас с мамой установилось временное перемирие, и тогда я еще верила, что все худшее позади. Она не сказала, куда мы идем в темноте, и я не сумела прочесть табличку в окне автобуса, на который мы сели. У меня урчало в животе от страха, что мы вновь исчезнем по маминому капризу, но мы просто сидели у реки, там, где нас высадил безымянный автобус, и, когда взошло солнце, лужи бензина, разлившегося по воде, заискрились всеми цветами радуги. Когда стало жарко, мы вернулись домой. Бабушка с дедушкой были в ярости, но мама сказала, что мы гуляли по микрорайону. Они ей поверили, потому что хотели поверить, хотя ее выдумка получилась не слишком правдоподобной, потому что их микрорайон был не настолько большим,

чтобы в нем потеряться. Мама улыбалась, когда говорила, — врать она мастерица.

Ее вранье произвело на меня впечатление. Одно время мне тоже хотелось освоить умение врать без зазрения совести; других полезных умений у матери не было. Дедушка с бабушкой расспросили привратника, но он не смог ничего подтвердить — он часто спал на посту. Так что мы как бы приостановились в этой мертвой точке, как это будет еще не раз, и каждый держался за свою ложь в твердой уверенности, что его интересы возобладают. Позже бабушка с дедушкой расспросили меня еще раз, и я повторила мамину выдумку. Тогда я еще не умела думать своей головой. Я была послушной, как пес.

Иногда я говорю о маме в прошедшем времени, хотя она еще жива. Она бы, наверное, обиделась, если бы смогла это запомнить. На данный момент Дилип — ее любимчик. Дилип — идеальный зять. Их общение не затуманено ожиданиями. Он не знал маму такой, какой она была раньше, — он принимает ее такой, как есть, и с радостью вновь называет себя, если она забывает, как его зовут.

Мне хочется воспринимать ее так же, но та мама, которую я помню, появляется и исчезает передо мной: заводная кукла с испорченным

механизмом. Кукла больше не движется. Чары рассеялись. Ребенок не знает, что реально, что нет. Не знает, чему можно верить. Может, она никогда и не знала. Ребенок плачет.

Жалко, что в Индии нет эвтаназии, как в Нидерландах. Не только ради достоинства пациента, но и ради достоинства всех причастных.

Я должна горевать, а не злиться.

Иногда я все-таки плачу, когда меня никто не видит. Да, я горюю, но тело сжигать еще рано.

Часы на стене в кабинете врача настойчиво требуют к себе внимания. Часовая стрелка застыла на единице. Минутная — между восьмеркой и девяткой. В таком положении они остаются уже полчаса. Часы на стене — угасающий пережиток иных времен. Они давно поломались, и никто их не заменил.

Но что бесит больше всего, так это секундная стрелка, единственная из всех стрелок, которая движется. Не только вперед, но и назад: то туда, то сюда, с беспорядочными, совершенно непредсказуемыми интервалами.

У меня урчит в животе.

Слышимый вздох облегчения проносится по приемной, когда секундная стрелка прекращает движение, но она притворяется мертвой лишь

долю мгновения и сдвигается снова. Я на нее не смотрю, но тиканье разносится эхом по всей комнате.

Я смотрю на маму. Она дремлет на стуле.

Я буквально физически ощущаю, как тиканье настенных часов проходит сквозь мое тело, меняет мой сердечный ритм. Это не просто тик-так. Тик-так — вездесущее звучание, пульс, дыхание, слово. Тик-так содержит в себе биологический резонанс, который ты пропускаешь через себя, даже не замечая. Но это тиканье совсем другое: тик-тик-тик, потом долгая пауза, а затем так-тик-так.

Мама спит, открыв рот, бесформенный, точно смятый бумажный пакет.

Сквозь панель из волнистого стекла мне видны какие-то люди, сгрудившиеся вокруг узкого стола. Они слушают комментатора крикетного матча, ликуют, купаясь в радиоволнах, истекающих из динамика. Тиканье снова меняет ритм.

В кабинете у доктора нас дожидаются другие часы, нарисованные на бумаге. Только круг циферблата и стрелки, без цифр.

— Проставьте, пожалуйста, числа, миссис Ламба, — говорит маме врач.

Она берет у него механический карандаш и начинает с цифры «один». На «пятнадцати» врач

говорит, что достаточно.

— Вы знаете, какое сегодня число?

Мама смотрит на меня, потом снова на доктора. Пожимает плечами. Одно плечо поднимается выше другого. Каждое проявление ее физической деградации вызывает пронзительное отвращение. Я смотрю в стену, выкрашенную в кремовый цвет. Дипломы и сертификаты висят кривовато.

— А какой сейчас год?

Мама медленно кивает.

— Начните с тысяч, — говорит врач.

Она открывает рот, уголки ее губ опускаются вниз, как у рыбы.

— Тысяча девятьсот… — медленно произносит она, глядя куда-то в пространство.

Врач качает головой:

— Вы, наверное, хотели сказать «две тысячи»?

Она радостно с ним соглашается и улыбается, словно гордится каким-то большим достижением. Мы с врачом выразительно переглядываемся.

Он говорит, что в особенных случаях они делают пункцию для диагностического извлечения спинномозговой жидкости, но он пока не решил, можно ли квалифицировать мамин случай как особенный. Он направляет ее на УЗИ и анализы

крови, щупает лимфоузлы, крепит снимок маминого мозга на подсвеченную стеклянную панель. Анализирует расположение теней, ищет черные дыры. Он утверждает, что у нее мозг молодой женщины. Мозг, который прекрасно справляется со своими функциями.

Я уточняю, каковы функции мозга. Активировать нейроны и распределять электрические сигналы?

Он смотрит, прищурившись, и не отвечает на мой вопрос. У него квадратная челюсть и, похоже, неправильный прикус.

— Но мама все забывает, — говорю я.

— Да, так и есть, — говорит он, и теперь я различаю его шепелявость. Врач рисует картинку на листе бумаги. Человеческий мозг в виде пушистого облака. Он слишком быстро отрывает ручку от бумаги, и волнистые линии получаются разомкнутыми, словно облако продырявлено. — В таких случаях следует ожидать постепенного снижения когнитивных способностей, которое выражается в потере памяти и изменении личности. Симптомы, не так уж и сильно отличные от тех, что мы уже замечаем. Что замечаете вы, — поправляется он. — Пока непонятно, насколько крепка ее связь с реальностью на данный мо-

мент.

Он берет карандаш и заштриховывает те участки, где синаптический аппарат дает сбой, где отмирают нейроны. Девственно белое облако наполняется темными пятнами. Просветы в разомкнутых линиях начинают казаться истинной благодатью, сквозь них внутрь проходит хоть какой-то воздух. Гомогенетическая кора, лимбическая система и подкорковые структуры покрываются грязной, неаккуратной штриховкой. Я сижу, подложив под себя ладони.

Гиппокамп — банк памяти. При данной болезни его хранилища опустошаются. Долговременная память не формируется, кратковременная рассеивается, как дым. Настоящее становится зыбким и хрупким, и все только что произошедшее забывается в считаные секунды, словно оно и вовсе не происходило. Когда начинает отказывать гиппокамп, пространство может казаться иным, искаженным.

— Не было ли у нее серьезных травм головы? Не подвергалась ли она длительному воздействию токсинов? Возможно, тяжелых металлов? У кого-то из вашей ближайшей родни были аналогичные проблемы с памятью? Или проблемы с иммунитетом? Прошу прощения, но я вынужден

спросить про ВИЧ и СПИД.

Он сыплет вопросами, не давая мне времени на ответы, и я понимаю, что ответы ему не нужны. Что бы я ни сказала, это будет, по сути, неважно. Мамина история совершенно не соотносится с ее диагнозом.

Внутри складок облака врач рисует звездочку. Рядом с ней пишет: «Амилоидная бляшка». Амилоидные бляшки — это белковые скопления между нейронами, образующиеся в мозге при болезни Альцгеймера.

Я спрашиваю:

— УЗИ показало у мамы такие бляшки?

— Нет, — говорит он. — По крайней мере, пока еще нет. Но ваша мама все забывает.

Я говорю ему, что совершенно не понимаю, как такое может быть, и в ответ он выдает целый список фармацевтических препаратов. «Донепезил» наиболее популярный. Врач пишет название и трижды обводит его кружочком.

— Какие у него побочные действия?

— Высокое кровяное давление, головные боли, расстройство желудка, депрессия.

Он глядит в потолок, щурится, пытается вспомнить другие побочные действия. На рисунке амилоидная бляшка выглядит не так уж и страш-

но. Напоминает одинокий клубочек пряжи. Я говорю это вслух и тут же жалею о сказанном.

— Она вяжет? — спрашивает врач.

— Нет. Она ненавидит женские рукоделия. Вообще все, что связано с домашним уютом. Кроме стряпни. Мама прекрасно готовит.

— Жаль, что не вяжет. Вязание, когда становится мышечной памятью, уже не требует сосредоточенности в определенных участках мозга, но все равно их стимулирует.

Я пожимаю плечами:

— Я, конечно, попробую ее убедить. Но вряд ли она согласится.

— При ее состоянии ни в чем нельзя быть уверенным, — говорит он. — Завтра она может проснуться совершенно другим человеком.

Когда мы уже собираемся уходить, доктор интересуется, не состоим ли мы в родстве с неким доктором Винаем Ламбой, главврачом в одной из крупных бомбейских больниц. Я говорю, что не состоим, и он, кажется, разочарован, опечален за нас. У меня даже мелькает мысль, что, возможно, выдуманное родство могло бы как-то помочь.

Он спрашивает:

— С кем живет ваша мама? С мужем или, может быть, с сыном?

Я отвечаю:

— Нет. Сейчас она живет одна.

— Не грызи ногти, — говорит мне мама по дороге домой.

Я возвращаю правую руку на руль, стараясь не сжимать его слишком сильно, но моя левая рука машинально тянется ко рту.

— Вообще-то я не грызу ногти. Я кусаю кутикулы.

Она отвечает, что это без разницы, и ругает меня за дурацкую привычку. Ей жаль мои пальцы, которые выглядят так кошмарно, хотя я многое делаю руками. Я молчу, а она говорит всю дорогу. Я не слушаю, *что* она говорит, но слушаю, *как* говорит: ритм ее речи, оговорки, заминки в голосе, когда она говорит совершенно не то, что думает, и начинает отчитывать меня, чтобы скрыть собственную неуверенность. Она извиняется, говорит, что сама виновата в своих ошибках, благодарит меня и вздыхает, растирая пальцами виски. Ее губы заметно ввалились сбоку, в том месте, где недостает двух зубов. У нее такой вид, словно она съела что-то горькое.

Я спрашиваю, с кем она говорит, но мама не отвечает. На всякий случай я оглядываюсь на заднее сиденье.

У нее дома мы пьем чай с диетическим печеньем, потому что это ее любимое лакомство и сегодня у нее был тяжелый день. Я прошу Кашту приготовить мне пасту из меда и имбиря, чтобы успокоить першение в горле. Мама молча прислушивается, а потом говорит:

— Добавь чуть-чуть свежего корня куркумы. Буквально кусочек размером с крайнюю плоть младенчика.

Она прижимает ноготь большого пальца к кончику указательного, отмеряя точное количество. Потом опускает глаза и сосредоточенно глядит в свою чашку.

— Может, не надо о крайней плоти? — говорю я, ломая печенье пополам.

— А что тут такого? Ты просто ханжа.

Она хорошо помнит, как задеть меня побольнее.

В ее квартире царит беспорядок. Я пересыпаю соль из трех полупустых солонок в одну. На обеденном столе лежит стопка нетронутых газет. Мама просит их не выбрасывать, говорит, что когда-нибудь прочитает.

Я высыпаю фасоль из мешочка в металлический тхали и тщательно перебираю, ищу нелущеные зерна. Кашта пытается отобрать у ме-

ня тарелку, но я отталкиваю ее руку. Убедившись, что все нелущеные зерна отложены, я начинаю раскладывать лущеные по цветам: темно-зеленые, бежевые, коричневые. Мама смотрит на аккуратные кучки и качает головой. Я хрущу пальцами и продолжаю разбирать зерна. Я знаю, что они все равно перемешаются в кастрюле, но я начала и уже не могу остановиться, не могу прекратить поиск различий, пока каждое зернышко не окажется на своем месте, в окружении своего племени.

Мама дремлет на диване, и на секунду мне кажется, что я очень даже способна представить, какой она станет, когда умрет, когда смягчатся ее черты и воздух уже навсегда выйдет из легких. Вокруг нее вещи: газеты и фотографии в рамках, на фотографиях — лица людей, с которыми она не виделась много лет. Среди этих вещей ее тело кажется безжизненным и одиноким, и у меня вдруг мелькает мысль, что, может быть, представление, которое мы разыгрываем перед миром, стимулирует циркуляцию неких жизненно важных токов, и в присутствии зрителей сердце бодрее качает кровь. Очень просто рассыпаться на кусочки, когда тебя никто не видит.

Моя прежняя комната отличается от всего

остального пространства квартиры, как кусок пересаженной чужой кожи. Там царит идеальный порядок, безупречная симметричность, которую я оставила, уходя, и которую даже она, моя мать, не сумела разрушить. На стене в одинаковых рамах висят черно-белые наброски портретов, на расстоянии ровно в пять сантиметров друг от друга. Кровать застелена свежим бельем, но, когда я пытаюсь разгладить ладонью складки на простыне, выясняется, что они накрепко заутюжены в ткань.

После последних выборов мама ругается с телевизором каждый раз, когда на экране появляется новый премьер-министр. Он носит свою шафранную мантию как атрибут божества — складки на стилизованной плиссировке всегда располагаются на одном и том же месте. Из-за этого человека, говорит мама, у нее никогда не было настоящей любви.

Я просыпаюсь в темноте. Экран моего телефона освещен дюжиной пропущенных звонков от Дилипа. Из-под двери гостиной сочится мигающий свет. Видимо, мама смотрит телевизор, приглушив звук.

Небо темное, но промышленный комплекс в пятнадцати километрах отсюда испускает розо-

вое свечение, словно прелюдию рассвета. Когда я вхожу в комнату, мамы на диване нет, и я не сразу нахожу ее взглядом. Она стоит за прозрачной тюлевой занавеской, прижавшись всем телом к оконному стеклу. Плотные боковые шторы, белые в черный «огурец», частично скрывают ее фигуру, окутав узором теней. Ее темное родимое пятно видно даже сквозь тюль: длинный тонкий овал на лопатке, как мишень у нее на спине. Ее грудь не шевелится, словно она не дышит.

Полностью голая, она делает шаг назад и глядит на свое отражение в стекле. Глядит на мое отражение, возникающее рядом с ней. Ее взгляд мечется между двумя отражениями, словно она не отличает одно от другого. Противоположности часто бывают похожи.

Я прикасаюсь к ее локтю, и она испуганно вздрагивает. Потом указывает на экран телевизора, на человека, чей голос она заглушила с пульта.

— Вы все заодно, — шепчет она.

— Мама.

Я пытаюсь ее успокоить, увести прочь от окна, но она пятится от меня, смотрит совершенно дикими глазами, и мне кажется, что она меня не узнает. Она быстро приходит в себя, но мне

хватает и этой секунды, когда мама не знала, кто я. В эту секунду я стала никем.

Уложив маму в постель, я звоню ее доктору. У него хриплый, недовольный голос. Он спрашивает, откуда у меня его номер. Мой звонок вдруг становится чем-то интимным, почти неприличным, словно я перешла некую запретную черту. Его жена наверняка лежит рядом, разбуженная звонком. Я представляю их обоих в постели, представляю их смятые ночные одежды. Я чувствую, как между ног становится влажно.

— На секунду мама меня не узнала, — говорю я.

— Такое бывает. Вам следует ознакомиться с прогрессирующими симптомами. — Его язык сонно ворочается во рту, его голос выдает раздражение, и у меня ощущение, будто я провалила экзамен.

Целый день я размышляю, ищу информацию, строю гипотезы. Я никогда не интересовалась наукой, но теперь поневоле приходится разбираться в замысловатой терминологии.

Я изучаю химический состав маминого лекарства, рассматриваю схематические изображения молекул. Вереница элегантных шестиугольников и болтающийся на конце хлороводородный хво-

стик. Я читаю статьи об исследованиях на животных, на мозге крыс. Таблетки, которые прописали маме, ингибируют фермент холинэстеразу: она расщепляет нейромедиатор ацетилхолин. Нерасщепленный ацетилхолин помогает замедлить болезнь и облегчить симптомы.

Но избыток ацетилхолина вызывает опасную интоксикацию.

Ацетилхолин содержится в пестицидах и в боевых отравляющих веществах, в частности в нервно-паралитическом газе.

Вещество в малых дозах может быть панацеей. В больших дозах оно убивает.

Я открываю другое окно. Бактерии *helicobacter pylori* способствуют возникновению язвы желудка и рака, если их слишком много, но при их полном отсутствии у детей развивается астма.

Всего должно быть в меру.

Подобных действий гораздо больше, чем говорил врач. Я хочу позвонить ему снова, но опасаюсь. У меня с ним натянутые отношения. Если это можно назвать отношениями. Я изо всех сил стараюсь об этом не думать.

Я нашла несколько форумов, где ругают «Донепезил», который как минимум неэффективен. Для поддержания умственного здоровья настоя-

тельно рекомендуется крилевое масло. В самом строении этих мелких морских рачков с тонкими ножками-ниточками есть какая-то очаровательная завершенность. Криль лучше, чем рыба, и в прилагающейся диаграмме объясняется почему: фосфолипиды, содержащиеся в крилевом масле, лучше усваиваются организмом.

Я переписываю в блокнот химическую формулу, срисовываю с экрана молекулярную схему, но мои рисунки расходятся с оригиналом: они больше похожи на криль, чем на молекулы. Сложный этиловый эфир превращается в хрупкий панцирь, жирные кислоты — в растопыренные плавательные ножки. Когда я пытаюсь оформить покупку масла, сайт выдает предупреждение, что компания не гарантирует быструю доставку в Индию и не несет ответственности за таможенные задержки.

Мне также напоминают, что данное масло является светочувствительным препаратом и быстро портится при высоких температурах.

* * *

Мой муж Дилип родился и вырос в Америке. Он ломает лепешки роти двумя руками. Мы с ним познакомились два года назад, когда он приехал

работать в Пуну. Командировка в Индию была для него понижением по службе, но он не обмолвился об этом ни словом, когда подсел за мой столик в немецкой кондитерской на Норт-Мейн-роуд. Я не ожидала, что в воскресенье так рано утром в кафе придет еще кто-нибудь, кроме меня. Тем более что туда вообще мало кто ходит после теракта 2010 года, когда прямо в обеденном зале взорвалась бомба.

Я сидела на красном пластмассовом стуле, уткнувшись в экран своего ноутбука, и Дилип присел на свободный стул рядом со мной. Посмотрел на меня и улыбнулся. У него были ровные белоснежные зубы. Он спросил, знаю ли я пароль от вай-фая и не буду ли против, если он угостит меня кофе. Я сказала, что от кофе становлюсь нервной и иногда меня пучит. Он спросил, над чем я работаю, и, хотя мне совсем не хотелось рассказывать ему о своих рисунках, я рассудила, что художникам не пристало бояться выдавать свои секреты незнакомцам.

Он слушал внимательно, чуть ли не затаив дыхание. Когда он наклонился поближе ко мне, его колени согнулись под острым углом, красный пластмассовый стул заскрипел под его весом. Мы уставились друг на друга, и Дилип спросил, не

желаю ли я разделить с ним вечернюю трапезу на выходных. Я немного зависла на слове «трапеза», но потом поняла, что он приглашает меня на ужин. (Позже я нахваталась от Дилипа всяких замысловатых словечек.)

Он спросил, знаю ли я хорошие рестораны поблизости от ашрама.

Я сказала, что знаю.

— В детстве я несколько лет прожила в ашраме и хорошо знаю этот район.

Свидание было приятным. Мы заказали одну на двоих большую порцию спагетти, свернутых гнездами и украшенных листьями базилика и запеченными помидорами черри, похожими на красные и желтые яйца, из которых так и не вылупились птенцы. Мы сидели за столиком в ярко освещенном саду, лица других посетителей сливались с пятнами густых теней от высоких смоковниц. Наш столик стоял в укромном уголке. Идеальное место для тайных свиданий влюбленной пары. Идеальное настолько, что, договариваясь о встрече, можно было бы указывать в сообщении лишь набор цифр — числа для обозначения времени, — потому что место в пространстве всегда оставалось бы тем же самым.

Так я ему и сказала, без всякой самоцензуры,

и Дилип счел это забавной, изобретательной выдумкой. Он заметил, что я, наверное, люблю сочинять истории.

— Меня всегда привлекала максимально прозрачная коммуникация, — сказала я.

В связи с чем мне хотелось бы уточнить, свидание у нас или нет. Обычно я крутила романы либо с друзьями мужского пола, либо с теми мужчинами, с кем знакомилась через друзей, и мы оставались в таком промежуточном качестве: нечто среднее между любовниками и друзьями, — но ни с кем из них я не делила тарелку спагетти, и никто из них не платил за мой ужин в дорогом ресторане.

Дилип рассказывает историю нашего знакомства иначе. Или, может быть, она просто звучит иначе, когда произносится его голосом, с его округлыми гласными и как бы пережеванными словами. Он описывает свои чувства, возникшие при виде меня, говорит, что я выглядела как богемная художница, вспоминает, что я была в блузке, испачканной краской. Это уж точно его фантазия: я принципиально не выхожу за пределы студии в «рабочей» одежде. И не пишу красками.

Дилип вообще склонен к преувеличениям. Он

говорит, что его сестра — настоящая красавица, хотя она далеко не красавица. Он называет приятными многих людей, которые явно не заслужили подобного определения. Видимо, это все потому, что он сам настоящий красавец и душка. Он любит рассказывать о миллионах друзей, оставшихся у него в Америке, но лишь четверо приехали в Пуну на нашу свадьбу. Не то чтобы я сильно расстроилась. Свадьба длилась всего два дня, по моему настоянию, и мама Дилипа сказала, что ради такого не стоит и ехать. Его родители прилетели из Штатов вместе с его сестрой и еще полудюжиной родственников. Моя бабушка заявила, что гуджаратцы из Америки составили убогонькую свадебную процессию.

Еще в период подготовки к свадьбе мама Дилипа сообщила своему астрологу дату и время моего рождения, чтобы убедиться, что звезды не воспрепятствуют моему браку с ее сыном. На самом деле мама давно потеряла мое свидетельство о рождении, еще в те времена, когда мы были бездомными, а восстанавливать документы — большая морока, поэтому мы сами измыслили время, более-менее приближенное к настоящему.

— Я помню, было темно, — сказала мама.

— То есть берем промежуток от позднего вечера до раннего утра, — ответила я.

Мы сказали маме Дилипа, что я родилась вечером, в 20:23. Именно в двадцать три, потому что число, оканчивающееся на ноль или пятерку, могло бы показаться придуманным. За четыре месяца до свадьбы мама Дилипа позвонила мне на домашний телефон.

— Я говорила с пандитом, — сказала она. — Он очень встревожен.

Астролог составил мою натальную карту, рассчитал все дома и аспекты — и получил настораживающий результат. Мангала, красная планета, в момент моего рождения находилась как раз в доме семьи и брака.

— Ты манглик, — сказала она. — Так называют таких, как ты.

На линии были помехи, и я не расслышала и половины ее обвинительной речи. В конце она заявила, что, если я выйду замуж за ее сына, моя неукротимая огненная энергия может его убить. Я долго молчала, гадая, может быть, Дилип передумал на мне жениться и попросил свою маму, чтобы она мне позвонила и сообщила о расторжении помолвки. Я слышала, как она дышит в трубку, влажно причмокивая губами. Возможно,

она ждала извинений. Но мне было не за что извиняться.

— Но ты не волнуйся, — сказала она, когда молчание затянулось настолько, что стало неловким. — Пандит сумеет поправить дело.

На следующий день пандит заявился к нам прямо домой. Не американский пандит свекрови, а местный посол доброй воли.

— Это еще зачем? — спросила мама, наблюдая, как он расстилает плетеный коврик на полу в гостиной.

— Плохое влияние в доме Марса, — пояснил он. — Очень опасно для ее мужа.

— Суеверная чушь.

Мама вырвала палочку благовоний из рук у пандита и принялась размахивать ею у него над головой.

Как ни в чем не бывало он продолжал свои приготовления. Разложил фрукты на металлических блюдах. Затем — цветы. Молоко в керамических чашках. Он принес с собой сари и расшитое золотом красное покрывало. Он уселся перед большим глиняным горшком и разжег костерок из топленого масла, древесной стружки и мятой газеты.

Дело было в самый разгар лета, в квартире

жарило, как в пароварке. Я чихнула, и мне на ладонь упал темный сгусток соплей, плотный, с кровяными прожилками, как кусочек раковой опухоли. Я не сомневалась, что это дурное предзнаменование, и потихонечку вытерла руку о бок под рубашкой. Пандит разложил на полу древесные бруски, накрыл их слоями красной и оранжевой ткани. Рассыпал зерна сырого риса, выложил из них знаки солнца, расставил цельные арековые семена, изображавшие планеты в космосе, пробормотал благословения, смысла которых я так и не уловила.

Я села напротив четырех бронзовых идолов. Они были крошечными, высотой сантиметров десять.

— Сегодня это твой муж, — сказал мне пандит.

Я уставилась на богов. Они были все на одно лицо. Все, кроме Ганеши, чей хобот изогнулся в улыбке.

— Кто из них? Или все сразу?

— Нет, только он. Вишну. — Пандит улыбнулся. — Он станет тебе первым мужем, поглотит всю твою плохую энергию, и второй муж уже не пострадает.

Вишну казался тонким и хрупким, с орлиным носом и крошечным скошенным подбородком.

Я спросила:

— А нам обязательно это делать? Нельзя просто сказать, что мы все сделали?

Пандит не ответил.

Ритуал был очень долгим — наша с Дилипом свадебная церемония и то длилась меньше. Под заунывное пение пандита я ходила кругами вокруг огня, сжимая в руке крошечную фигурку, глядя в неподвижное лицо божества. Пандит надел мне на шею простую мангалу сутру, нанес вдоль пробора красную линию из синдура в знак того, что теперь я замужняя женщина. В конце церемонии он сорвал с меня бусы и размазал алую пасту по лбу.

— Были женаты и развелись, — объявил он.

Я посмотрела в зеркало. Все лицо в красных пятнах, на шее — отметина от застежки бус. Это был совершенно свирепый, дикарский ритуал. Пандит сердечно пожал мне руку. Потом попросил чашку чаю и намекнул, что надо бы сделать пожертвование.

За месяц до свадьбы мы с Дилипом поехали в Бомбейский аэропорт, встречать его маму. Ехать было четыре часа, и Дилип арендовал машину с водителем: большую «тойоту иннову», чтобы вместить весь мамин багаж. Когда мы приеха-

ли, его мама уже стояла на улице перед входом, обмахиваясь вместо веера каким-то буклетом и отгоняя назойливых таксистов. Рядом с нею топтался носильщик с доверху нагруженной тележкой. Моя свекровь невысокого роста, но достаточно полная и занимает собой много места, особенно если пихает прохожих локтями и загораживает им дорогу. Я помню, в тот день она была во всем розовом: брюки, футболка, босоножки, соломенная шляпка от солнца — все одного и того же ярко-розового оттенка. Она стояла с хмурым недовольным лицом, пока не увидела сына. А как только увидела, бешено замахала руками, и ее шляпка съехала набок.

— Я не была в Индии десять лет! — объявила она вместо приветствия.

Она была на удивление бодрой после долгого перелета и по дороге через живописные Западные Гаты подмечала каждую гору мусора у шоссе и сокрушенно качала головой. Я ей сказала, что в сезон дождей в горах очень красиво: когда воздух влажный и все окутано легкой туманной дымкой, — хотя в тот день летнее небо над нами было невыразительно белым. Впрочем, маму Дилипа не интересовали красоты природы. Ее скептицизм прирастал с каждым пропускным

пунктом на въезде на платный участок дороги. Она каждый раз отмечала, что эти пункты строятся без учета высоты среднего автомобиля и длины человеческой руки, так что деньги кассиру, сидящему в будке, приходится передавать через посредников.

— Вот такая страна, — вздыхала она. — Хотя тоже способ обеспечить людей работой. Нанимают троих там, где хватило бы и одного.

Когда мы въехали в Пуну, широкое скоростное шоссе с его ярко раскрашенными рекламными щитами сменилось узкими улочками с крошечными предприятиями малого бизнеса: мотелями, ресторанами и магазинами велосипедов. Пока мы стояли на светофоре, из ближайших трущоб вышли двое мальчишек. Зевая и растирая глаза, они присели на корточки прямо на тротуаре.

— О боже, — сказала мама Дилипа, — вы посмотрите на этих ребят. Они не могли сделать свои дела за домом? Вот же знак, что здесь есть туалет.

Я подумала, что здесь, наверное, такой туалет, который и в страшном сне не приснится, но ничего не сказала. Я очень надеялась, что сейчас загорится «зеленый» и мы поедем. Но «зеленый» не загорался, а к двум мальчишкам присоединил-

ся третий, присевший еще ближе к дороге.

— Это безумие, — пробормотала мама Дилипа.

— Не обращай внимания, — рассмеялся Дилип.

— Стыд и срам.

Она взяла телефон и стала снимать их на видео. Я скрестила руки на груди. Я надеялась, мальчишки не заметят, что их снимают. Но они заметили. Разом поднялись на ноги и обернулись к нашей машине.

К счастью, на светофоре зажегся «зеленый». Мама Дилипа рассмеялась, когда мы тронулись с места, и всю дорогу смотрела видео на повторе. Я пыталась отвлечь ее от телефона — она впервые приехала в Пуну, — мне хотелось, чтобы она посмотрела на зеленые просторы военной базы, чтобы она оценила густую тень в аллее древних баньянов. Пуна лежит в глубине материка, у нас сухой климат. Зимой всегда холодно, летом пыльно, но здесь никогда не бывает зловонной влажности, как в Бомбее. Я предложила ей список мест, куда можно сходить: историческая крепость Шанивар Вада, бывшая резиденция местного пешвы; маленький, но красивый храм Шивы; мой любимый кондитерский магазин на Мейн-стрит — на случай, если она любит сладкое. Мы проехали мимо клуба «Пуна», где пройдет наша

свадебная церемония и банкет, и я попыталась произвести впечатление на будущую свекровь, попыталась ей рассказать, как для меня важно, что наш брак с Дилипом будет зарегистрирован именно здесь; что мои бабушка с дедушкой были членами этого клуба больше сорока лет, и, хотя моя мама не проявляла особенного интереса к клубной жизни, мы с Дилипом скоро получим членство. Именно здесь, в клубе «Пуна», мы с ним впервые заговорили о свадьбе: за пивом в баре после воскресного посещения бассейна. Я не стала рассказывать о других своих воспоминаниях, связанных с клубом. Не стала рассказывать, как я сидела у этих священных ворот, будто нищенка. Некоторые истории лучше рассказывать после свадьбы.

Мама Дилипа взглянула в окно, кивнула и улыбнулась, растянув губы в тонкую линию:

— От британцев остались красивые здания.

Недели, предшествовавшие нашей свадьбе, были самыми жаркими за все лето. Только отчаянные смельчаки решались выйти на улицу. Коровы, собаки и люди падали замертво на тротуарах. Тараканы справляли тризну. В один особенно жаркий день Дилип и моя будущая свекровь пришли к нам на обед. Я мысленно

проклинала Пуну за то, что она будто нарочно решила произвести самое неблагоприятное впечатление. Я себя чувствовала виноватой во всем отвратительном и кошмарном, что происходит вокруг. В городе было не просто жарко, а убийственно жарко. Духота стояла такая, что воздух сделался практически непригодным для дыхания. Наверное, я стала чрезмерно чувствительной ко всем привычным дефектам и недочетам нашей повседневной жизни, глядя на них через призму склонностей и предпочтений Дилипа, у которого были свои жизненные стандарты, но лишь с приездом его матери я поняла, что он привык к здешнему существованию и сделался невосприимчивым к некоторым неудобствам. Я же переживала за каждую мелочь, за каждый изъян, хотя понимала, что некоторые изъяны лишь добавляют Пуне очарования. Но я совсем растерялась, не зная, что можно показывать, а что нельзя — и в своем доме, и в себе самой, — и как подобрать наиболее выигрышную маскировку для того, что действительно лучше бы не выставлять напоказ.

Дилип и его мама пили кокосовую воду и кислый нимбу пани, даже не подозревая о том, что всю предыдущую неделю я пыталась привести

в божеский вид нашу с мамой квартиру: заново красила облупившиеся стены, снимала треснувшие зеркала и зашивала прорехи на обивке дивана и кресел.

Мама Дилипа питала пристрастие к одежде совершенно безумных цветов и, как мы поняли, к шляпам. При первой встрече моя мама прикрыла ладонью рот, чтобы спрятать улыбку, и мне самой было непросто не замечать всю абсурдность наряда моей будущей свекрови. Я уже поняла, что эта женщина не отличается тонким вкусом, и все же ее неприязненное отношение к Пуне меня задело.

После обеда мы сели на лоджии и принялись обсуждать приготовления к свадьбе. Дело близилось к вечеру, в это время соседи обычно толпились на своих балконах, напоминавших растрепанные коробки, составленные друг на друга. Люди размахивали руками, отгоняя голубей и ворон, и трогали пальцами белье, вывешенное сушиться на солнце.

Наши лица блестели от пота. Во дворе, тремя этажами ниже, виднелась женская голова с жидкими волосами на макушке и толстой, черной с проседью косой, закрученной кольцом на затылке. Мне было слышно, как скребет по земле ее

метла, сделанная из стеблей тростника. Листья и пыль шелестели, вздымаясь и падая на те же места, где лежали раньше. В воздухе витал дым, доносивший запахи выхлопных газов и горящего мусора, но мы не ушли внутрь. Звуки микрорайона казались тишайшими по сравнению с гудящими поездами, громыхавшими по близлежащей железнодорожной линии.

Я смотрела в мутное небо и пыталась почувствовать радость: я много лет прожила в этом доме, и теперь у меня наконец появилась возможность отсюда сбежать. Я посмотрела на Дилипа. Высокий, статный красавец. Сразу видно, что человек рос за границей. Бейсбольные кепки, хорошие манеры и замечательные результаты многолетнего потребления американской молочной продукции. Он меня спасал, хотя сам об этом не знал. Моя мама что-то сказала, он улыбнулся в ответ, показав все свои тридцать два зуба, безукоризненно ровные после дисциплинарного воздействия подростковых брекетов.

Позже, над миской сладкого рабри, свекровь обратилась к моей маме.

— Тара-джи, — сказала она, — пандит хотел обсудить свадебную церемонию. Он спрашивал, есть ли у вас близкие родственники, лучше се-

мейная пара, которые будут сидеть в мандапе и отдадут невесту семье жениха.

— Нет, — ответила мама. — Я сама отдам дочь жениху.

Мама Дилипа открыла рот, снова закрыла, задумчиво пожевала губами, сделала несколько глубоких вдохов. Это было похоже на нервный тик, словно слова, которые она готовилась произнести, нуждались в искусственной поддержке дыхания.

— По традиции, если мать невесты — вдова, эту часть церемонии берет на себя кто-то из родственников.

— Но я не вдова, — сказала мама.

Мама Дилипа положила ложку на стол. Снова ***открыла и закрыла рот. Потом тяжело задышала, буквально выталкивая из себя воздух, словно пытаясь задуть огонь. Мы все смотрели на Дилипа, который накладывал себе добавку рабри, оставляя белый молочный след на столе.

— Так было проще, — сказал мне позже Дилип, когда мы остались одни. — Индусы в Америке очень консервативны. Я не хотел говорить маме, что твои родители разведены.

Помню, как, возвращаясь из школы домой, я наблюдала за стаями бродячих собак с балкона

маминой квартиры. Эти собаки, с искалеченными лапами и рваными ушами, почти все время лежали на одном месте и поднимались только затем, чтобы увернуться от проезжающих мимо машин или взгромоздиться на своих матерей и сестер. С маминого балкона я, девочка-школьница в синей форме, во второй раз в жизни наблюдала за сексом, хотя издали было не очень понятно, то ли собаки действительно совокупляются, то ли дерутся. Обычно драки случались тогда, когда на территорию стаи забредали чужие псы-парии. Пронзительный рык чужака или хруст ветки под лапой становился сигналом к побоищу, и по ночам, когда мне полагалось давным-давно спать под плотной москитной сеткой, я слушала их боевые кличи. Помню, однажды по дороге в школу я увидела у калитки щенка, его брюшко дрожало от копошащихся внутри глистов, на мордочке кишмя кишели блохи. На месте хвоста зияла кровавая дыра.

Выйдя замуж за Дилипа, я получила в довесок его семью, его мебель и новый набор бродячих собак. Собаки, живущие в его квартале, гораздо спокойнее. Стараниями местных домохозяек здешние псы все поголовно раскормлены и стерилизованы. Вывалив наружу слюнявые языки, они

нюхают воздух. Время от времени покусывают друг друга за причинные места и выпрашивают у прохожих еду.

Я переехала к Дилипу в июне, перед самым сезоном дождей. Дожди пришли поздно. Плохой знак. Предвестие плохого года. В газетах писали, что фермеры обвиняют жрецов, не могущих договориться с богами, а жрецы винят фермеров за отсутствие должного благочестия. В городе в роли капризных богов выступают глобальные климатические изменения. Река, текущая неподалеку, то разливается, то мелеет, а в сезон дождей превращается в ревущий поток мутной бурой воды.

В постели Дилип утыкается носом мне в пах и жадно вдыхает.

— Ты ничем не пахнешь, — шепчет он. Он гордится этим моим качеством, говорит, что оно необычное и очень редкое, и, возможно, это одна из причин, по которым ему захотелось на мне жениться. Сейчас его жизнь переполнена интенсивными запахами — на работе, на улице, даже в лифте, — и он с облегчением приходит домой к жене, не имеющей запаха. Дилип вырос в Милуоки, его уши привыкли к тишине городского предместья и мягким ватным палочкам. Он говорит, что Пуна очень громкая и пахучая,

но его органы чувств смогут справиться с этим натиском, пока наш дом остается нейтральной зоной. Он говорит всем знакомым, что с моим переездом в его квартиру ему не пришлось ничего менять: моя жизнь слилась с его жизнью совершенно естественно и органично.

Зная о его страхе перед резкими переменами, я меняла все постепенно, почти незаметно. Первым делом избавилась от всех полотенец и всего постельного белья, к которому могли прикасаться другие женщины. Потом потихонечку вынесла на помойку все предметы одежды и книги, которые могли быть подарками от других женщин. Книги — в основном сборники любовной поэзии — было легко опознать по дарственным надписям на первой странице. Мне не хотелось, чтобы в нашем доме остались воспоминания о других женщинах моего мужа. Медленно, но верно я избавлялась от всех следов их присутствия в его жизни: старые фотографии, письма, сувенирные кружки, ручки, взятые из гостиничных номеров, футболки с названиями городов, куда они ездили вместе, магниты в виде памятников архитектуры, листья, засушенные между страницами книг, привезенные с пляжного отдыха ракушки в стеклянных банках. Может быть, это были чересчур

радикальные меры, но мне хотелось, чтобы наш с мужем дом был только нашим.

* * *

Мама запекает на плите большой баклажан, и мы наблюдаем, как пламя опаляет его темную кожуру. Светлая мякоть сочится паром. Мама выгребает семена рукой и бросает их в мусорное ведро. Удивительно, как она не обжигает пальцы. На белой пластмассовой разделочной доске она режет острый перец и молодой зеленый лук. Доска испачкана куркумой, на стеблях лука остались кусочки земли, но мама говорит, чтобы я не придиралась к таким мелочам. Она жарит в масле семена тмина, высыпает их на дымящийся баклажан, добавляет свежие листья кинзы, порвав их руками на мелкие кусочки. Горячее масло брызжет на плиту. Я кашляю, перемешивая в миске специи. Моя домработница, Айла, поправляет сари и вздыхает. Она начинает уборку на кухне, а мы с мамой относим готовые блюда в гостиную, где ждет обеда Дилип.

Мама нечасто бывает у нас в гостях. Говорит, что ей неуютно в нашей гостиной, где все стены зеркальные и отражения расходятся в разные стороны. Для Дилипа эти зеркальные стены ре-

шили дело, когда он подыскивал себе квартиру. Они означали, что он достиг того уровня, когда можно позволить себе капризы, и ознаменовали собой кульминацию его фантазий, связанных с зеркалами и порнофильмами. Для моей мамы зеркальная комната представляется слишком живой: каждое тело и каждый предмет воспроизводятся в четырех отражениях, и отражение каждого отражения умножается до бесконечности. Мама садится за стол, ее ступни нервно подергиваются, прячутся друг за друга, как мыши, спасающиеся от полуденной жары. Я сама привыкла к зеркалам и начала полагаться на них, когда мы с Дилипом ссоримся, потому что смотреть на орущие отражения — все равно что смотреть телевизор.

— Как у вас самочувствие, мама? — спрашивает Дилип.

Он называет мою маму мамой, как и свою. Поначалу меня это напрягало, но Дилипу так проще: называть двух женщин мамой и два места — домом.

Общаясь с Дилипом, мама старается говорить по-английски с американским акцентом. Она думает, что иначе он ее не поймет, и, если он пробует говорить на хинди, она все равно отвечает

ему по-английски. Мама старается копировать его протяжные среднезападные гласные и долгие паузы, предполагающие, что весь мир подождет, пока он соизволит закончить фразу.

— Скажу честно, после первого визита к врачу я начала бояться худшего. Даже строила планы, как покончить с собой. Спроси у нее, она подтвердит. Извини, милый. Не хочу портить тебе обед. Сначала поешь, а потом побеседуем. Как тебе амти? Надеюсь, не слишком остро? Так вот, отвечая на твой вопрос… Сначала я испугалась, но теперь успокоилась. По-моему, я ничем не больна. Я хорошо себя чувствую.

Дилип кивает и смотрит в зеркало прямо перед собой.

— Очень рад это слышать.

— Мама, врач говорит, что ты все забываешь.

— УЗИ не показало никаких отклонений.

— УЗИ может не показать никаких отклонений, даже если…

— Почему ты так настойчиво утверждаешь, что я больна? — Мама держит в руке кусочек сырого лука. Пока она говорит, лук падает обратно на тарелку.

— Ты действительно все забываешь. Забываешь, как делаются элементарные вещи. Как

звонить по мобильному телефону, как платить за электричество…

— Да я никогда и не знала, как платить за электричество. Все мозги завернутся, пока разберешься с этим интернет-банком.

Я кладу руки на стол. Врачу она этого не говорила.

— И ты просила меня позвонить Кали Мате. Позвонить человеку, который умер десять лет назад.

— Семь лет, — говорит мама и обращается к Дилипу: — Видишь, как она врет?

Дилип смотрит то на меня, то на маму. Когда он хмурится, у него на виске проступает шрам от старой травмы, полученной в лакроссном матче.

— Я не вру.

— Врешь. Вечно врешь. Ты у нас профессиональная лгунья.

После обеда мы отвозим маму домой, и на обратном пути Дилип что-то тихонечко напевает себе под нос. Я не могу разобрать мелодию и поэтому решаю его прервать:

— Вот зачем она так говорит?

Он секунду молчит, а потом отвечает:

— Может быть, она не верит в свою болезнь.

— Ей придется поверить.

— Ты не врач.

Мне обидно, что он ни капельки не доверяет моим суждениям.

— Я и не говорю, что я врач. А врач как раз говорит, что она больна.

— Он вроде бы говорил, что у нее мозг молодой женщины, или я что-то путаю?

— Но она все забывает. Важные вещи.

— Важные для кого? Может быть, она хочет забыть. Может быть, ей не хочется помнить, что ее подруга мертва.

— Как бы там ни было, она все забывает.

Мой пронзительный голос режет слух даже мне.

— Деменция и сознательное желание забыть — это разные вещи, Антара.

— Это уже полный бред. Почему бы ей вдруг захотелось забыть меня?

Дилип делает глубокий вдох и качает головой:

— Ты художник, ты должна быть открыта для самых разных возможностей.

— Она назвала меня лгуньей.

— Разве твое искусство как раз не об этом? О том, что нельзя доверять никому?

Он сидит с кислым лицом. Явно разочарованный. Я пытаюсь скопировать его выражение, но

чувствую, что ничего не выходит. Поэтому я грызу ноготь на среднем пальце. Вернее, кутикулу вокруг ногтя. Дилип берет мою руку и опускает ее вниз.

Мое искусство — не погружение в ложь. Это сбор данных, накопление информации, выявление несоответствий. Мое искусство — поиск той точки, где перестают действовать закономерности.

До замужества у меня была студия в доме у бабушки. Она выделила мне комнату, очень уютную, с идеальной пропорцией света и тени. В детстве мой интерес к коллекционированию всего начался именно здесь, в этом доме, среди вещей, оставшихся после умерших обитателей бунгало, где жили дедушка с бабушкой. Лампочки, батарейки, шнуры, ручки, марки, монеты. Я начала с поисков информации — когда были придуманы эти вещи, кто их изобрел, — часами сидела в библиотеке, обложившись энциклопедиями энергетики и патентов, но мои изыскания всегда уводили меня далеко от той точки, где я начинала. Чтобы не отвлекаться на лишние детали, я принялась рисовать эти предметы сама, изображая их так, как они виделись мне. Стараясь копировать как можно ближе к оригиналу.

Может быть, у меня плохой почерк, чересчур механический, без красивостей, но зато у меня твердая, точная рука. Я начала собирать мертвых насекомых, которых на удивление трудно найти целыми, без повреждений. Среди самых ценных моих экземпляров есть несколько мотыльков, схваченных в застывшем воске. Я храню их в стеклянной банке.

Музеи собирают в запасниках знаковые объекты: первый сотовый телефон, первый компьютер, — предположительно для того, чтобы когда-нибудь в будущем выставить их в экспозиции (при условии, что в будущем останется место для музеев). Я выросла в эру стационарных телефонов и механических наручных часов, и у меня есть собственная коллекция реликтов ушедших времен: стеклянные бутылки с этикетками лимонадов, давно снятых с производства, антикварные скребки для чистки языка и целая стопка альбомов для сбора автографов — ребенком я подходила на улицах к незнакомцам и просила их что-нибудь написать у меня в альбоме.

Дилип говорит, что, если все вулканы Земли извергнутся одновременно, планета покроется слоем пепла толщиной в несколько миль и наша квартира станет единственным местом, которое

обнаружат археологи будущего, они наверняка удивятся странным пристрастиям своих далеких предков. Я отвечаю, что именно американцы изобрели накопительство и превратили его в искусство.

Дилип однажды сказал, что в Америке никто не пользуется скребками для языка. В Америке белый налет с языка счищают зубной щеткой. Дилип говорит, что мне надо попробовать этот метод. Говорит, что одно многофункциональное приспособление лучше, чем два узкоспециализированных. Мне не нравится такой подход, я опасаюсь перекрестного заражения. Дилип пожимает плечами. Рот — одна полость, одна комната, один город. Все, что происходит с одной стороны, произойдет и с другой. Я говорю, что в таком случае он не должен обидеться, если я вылью ему на брюки воду из своего стакана.

Когда я переехала к Дилипу, он сказал, что я могу устроить студию в гостевой комнате. Все равно у него редко бывают гости.

— К тому же мне нравится мысль, что ты целый день будешь дома, — добавил он.

Комната очень просторная, солнечная. Не совсем подходящее место для сотворения таинств искусства. В посудном шкафу расположилась моя

кунсткамера, коллекция диковин. Все разложено по картонным коробкам или стерильным пластиковым контейнерам, дверцы всегда запираются на ключ. Фотографии и рисунки разложены по папкам, распределенные по темам, датам и категориям. В комнате также имеются большой деревянный стол и офисное кресло, которое Дилип принес с работы. На стене висит календарь, где я вычеркиваю дни, отмечая проделанную работу.

Уже три года я занимаюсь одним проектом и совершенно не представляю, надолго ли меня хватит. Все началось случайно. Я срисовала мужское лицо с фотографии, которую когда-то нашла. Но на следующий день, когда мне захотелось сравнить сделанный мною портрет с оригиналом, фотография куда-то запропастилась. Я искала ее весь день, но безрезультатно. К вечеру я сдалась. Взяла чистый лист — я пользуюсь только бумагой определенной марки, ничего выдающегося, «сделано в Китае», но она хорошо держит графит, — и срисовала лицо со своего вчерашнего рисунка, стараясь скопировать его один в один, вплоть до наклона штриховки и толщины линий. Это стало моей ежедневной работой, почти ритуалом. Я беру за образец рисунок, сделанный накануне,

тщательно его копирую, ставлю дату, убираю оба рисунка в соответствующую папку и вычеркиваю еще один день на календаре. Бывают дни, когда я управляюсь за час. Бывают дни, когда я сижу в студии с утра до вечера.

Через год после начала проекта мне устроили персональную выставку в крошечной галерее в Бомбее. Владелица галереи, моя подруга, сравнила динамику времени в моих работах с концептуальными сериями Она Кавары и сказала, что это дневник художника и именно так она и назовет мою выставку. Сравнение с Оном Каварой показалось мне в корне ошибочным. Его работы строятся на чистой механике, не подразумевающей участия человека. Мои работы являют собой образец несовершенства, заложенного в самой человеческой природе. Он Кавара ведет скрупулезный подсчет, я сбиваюсь со счета. Владелица галереи не собиралась вступать в обсуждение. Она заявила, что корректор уже вычитал текст для каталога и что в нынешней обстановке усложнение вопроса явно не будет способствовать продаже моих рисунков. Еще до открытия выставки один серьезный коллекционер проявил интерес к моей серии. Сказал, что подобная медленная, кропотливая работа в наше

время имеет огромную важность.

Серия не продалась.

Я считаю, что виновато название. Дневник. Что значит «дневник»? Само слово отдает чем-то школьным, до нелепого детским. Кому захочется тратить деньги на какой-то дневник? Мне это виделось по-другому. В ходе работы я думала только о неспособности человеческих глаз и рук сохранять объективность. Но, наверное, так всегда и бывает. Намерение и восприятие почти никогда не совпадают.

Я очень тщательно подбирала наряд для открытия, пытаясь создать соблазнительный образ, не оголив лишнего, и чувствовала себя совершенно неподготовленной, хотя понимала, что это был самый важный день в моей жизни. Я никому не говорила о выставке, но мама как-то узнала. Она приехала на открытие, обошла все залы, подолгу стояла перед каждым из 365 лиц. Первый и последний рисунки встречались друг с другом на входе в галерею, висели по обеим сторонам двери, создавая диалог различий. Это могли быть портреты двух разных людей, изображения двух разных лиц, сделанные руками двух разных художников. Мой проект по созданию идеальных копий с треском провалился, собственно, он и

должен был провалиться, но именно потому, что он не удался, местная арт-тусовка расценила его как огромный успех. В нескольких бомбейских газетах напечатали отзывы критиков, называвших мои работы маниакальными и волнующими, тревожными и одновременно чарующими. Почти все рецензенты задавались вопросом, как долго я буду вести этот проект.

Мама назвала мои рисунки игрой в «Испорченный телефон».

Через неделю, когда я вернулась домой, мама расплакалась и набросилась на меня со скалкой. Она кричала сквозь слезы, что я предательница и лгунья. Она требовала ответа, зачем я устроила эту выставку.

Держа в руке скалку, отобранную у мамы, я присела на краешек обеденного стола, пытаясь перевести дух. «А в чем проблема? — спросила я. — Почему мне нельзя рисовать то, что хочется?»

В тот же день мама велела мне собирать вещи и выметаться из ее дома. Мы с ней больше не виделись до того дня, когда я пришла к ней с Дилипом и сообщила, что выхожу замуж.

* * *

Я решила, что надо увидеться с папой и рассказать ему о мамином диагнозе. Он живет в Онде, на другом конце Пуны. Его дом стоит в окружении деревьев, где скачут настырные бурундуки. От грохота непрестанных авиационных учений дрожат стекла в окнах. Высоченные напольные часы в гостиной ежечасно выплевывают кукушку и выдают детский стишок на немецком.

Папины брови похожи на вышивку толстыми черными нитками.

— Вчера я звонил пять-шесть раз. Ты не брала трубку.

Я молча киваю. Я привыкла к подобным упрекам, и «пять-шесть раз» означает любое количество. Я не особенно вслушиваюсь в то, что он говорит. Его присутствие в моей жизни ограничено редкими, краткими встречами, его образ давно задвинут в самый дальний чулан на задворках моего сознания.

Напрямую вопросы не задаются. Я отвечаю на укоризненный тон его голоса:

— Я возила маму к врачу.

Диваны в гостиной расставлены, как сиденья в зале ожидания на вокзале. Мы с папой сидим

напротив друг друга. Он стиснул руки и ждет, что я скажу дальше. Я молча протягиваю ему конверт с результатами медосмотра и заключением врача. Он открывает конверт — слишком медленно, слишком долго, — случайно надрывает уголок клеевого клапана, охает, словно порезавшись, и глядит на разорванный клапан с выражением искренней боли. Он просматривает бумаги, держа их на вытянутых руках, читает, беззвучно шевеля губами.

— Все это очень печально, — говорит он, закончив читать. — Дай мне знать, если я могу чем-то помочь или если вдруг надо будет кому-нибудь позвонить.

Он бросает бумаги на журнальный столик и спрашивает, не хочу ли я еще чаю. Я качаю головой и ломаю ложкой карамельного цвета пленку, уже затянувшую чай в моей чашке.

— Очень жаль, — говорит папа. — Я бы хотел как-то помочь, так сказать, проявить сопричастность. Но не я все это затеял, еще тогда.

Это обычный подход, неизменно сопровождающий его упреки: в начале каждого нашего разговора папа сразу снимает с себя всю ответственность за какой бы то ни было выбор в прошлых, нынешних или будущих ситуациях.

Он заранее уходит от всех обвинений, которые я могла бы ему предъявить. Он не понимает, что я прихожу к нему вовсе не для того, чтобы предъявлять обвинения. Не потому, что он не виноват, а потому, что знаю: даже когда я вхожу в его дом, некая метафорическая дверь все равно остается закрытой и никогда не откроется передо мной.

Мне любопытно а сам-то он верит в отсутствие выбора? Было ли в его жизни хотя бы одно решение, за которое он принимает ответственность? Этот односторонний подход всегда был для меня и болезненным, и интересным: сама специфика голоса, которым отец говорит со мной. Мне любопытно, какой голос звучит у него в голове.

В комнату входит папина новая жена, и он умолкает. Она обнимает меня и легонько похлопывает по спине. Их сын тоже присоединяется к нам, садится напротив меня.

Руки новой жены повисают, как плети. Сын уже не младенец, каким представляется мне до сих пор, а подросток в том возрасте, когда трудно определить, сколько именно ему лет. Мы с ним совсем не похожи, разве что оба смуглые. А вот папа с новой женой, наоборот, очень похожи: оба худые и мягко-воздушные, как свитера тонкой вязки. Я улыбаюсь трем взаимозаменяемым

лицам.

Я расспрашиваю брата о колледже и, пока он отвечает, замечаю, что у него на подбородке уже пробивается первая борода. Я нечасто вспоминаю о брате, в основном мои мысли сосредоточены на отце. И его новой жене. За толстыми стеклами ее очков почти не видно глаз.

Когда я ухожу, папа вновь сокрушается из-за маминой печальной проблемы и говорит, что нам надо видеться чаще. Он так говорит каждый раз, когда мы прощаемся на пороге, но до следующей встречи неизменно проходит полгода.

По дороге домой я заезжаю на Боут-Клаб-роуд. Дверной звонок заливается птичьей трелью, я слышу, как тапочки бабушкиной домработницы, старой Чанды, скрипят в коридоре, словно резиновые утята. Она открывает мне дверь, улыбается трясущимися губами, прикасается к моей щеке и говорит:

— У тебя очень усталый вид.

Я иду в ванную и умываюсь над маленькой раковиной. Она висит под наклоном, прикрепленная к ответвлению водопроводной трубы — крошечный фаянсовый довесок. Брызги летят мне на ноги, на пол. Плитка с цветочным узором на стене за трубой давно потускнела, покрыв-

шись склизким мыльным налетом. Серая вода медленно утекает в слив.

Бабушка сидит по-турецки на чарпае, разложив перед собой три сотовых телефона. Видит меня, поднимает руку в приветствии. Мы очень похожи, все трое: бабушка, мама и я, — не считая отличий, созданных временем. Другие различия незначительны. У бабушки грузноватые лодыжки, волосы зализаны так, что кажутся приклеенными к голове, пробор в волосах блестит, точно масляный ручеек. У мамы белая кожа, вросшие волоски у нее на ногах напоминают черные зерна горчицы. Я очень смуглая, с кудрявыми волосами, которые распрямляются, только когда они мокрые.

Когда я сажусь, бабушка жалуется, что всю улицу раскопали, чтобы провести новую электрическую линию. Она говорит, что это очередная афера городских властей. Коррупция как она есть. Я уточняю, в чем именно, по ее мнению, выражается эта коррупция. Бабушка качает головой и отводит взгляд.

— Я росла, дыша воздухом гандизма, — говорит она. — Не могу даже вообразить, что творится в головах у этих бандитов. — У нее странноватый английский, выученный не по книгам, а по те-

лепередачам.

Она смотрит в окно, и я тоже смотрю. Улица сплошь состоит из двухэтажных бунгало и цветущих огненных деревьев, делониксов королевских. Яркий солнечный свет льется в окно, обесцвечивая голубую напольную плитку.

Этот дом они с дедом купили двадцать лет назад у старой и одинокой парсы с руками, похожими на залежалый зефир. Она не хотела продавать дом индусам, но других покупателей не нашлось. Бабушка с дедушкой привезли с собой всю свою старую мебель: стулья из палисандрового дерева и громадные посудные шкафы, неприступные, как гробницы (бабушка до сих пор носит на поясе связку ключей).

Дедушке с бабушкой очень хотелось скорее переехать; в их прежнем доме поселилось слишком много призраков дедушкиных измен и бабушкиных мертворожденных детей и электричество отключалось почти ежедневно. По иронии судьбы, они переехали в дом, населенный призраками мертвых предков его предыдущей владелицы. Моя мама сказала, что они поменяли свои неприятные воспоминания на чужие.

В день, когда они въехали в этот дом, я наблюдала, как грузчики — около дюжины человек

из компании «Темпо Трэвел» — сворачивают кружевные скатерти в плотные рулоны и укладывают их в коробку. Распахнутые дверцы шкафов выставляли напоказ все земное имущество нескольких поколений былых жильцов: старые лампочки, давно непригодные для использования, потемневшие серебряные украшения, фарфоровые чайные сервизы в «родных» коробках. Стеклянные люстры тонули в тумане, сотканном из паутины. Грузчики таскали обитые ситцем кушетки с продавленными подушками, напоминавшими мою серую майку, которую я носила под школьной формой. Распространяя густой запах пота, грузчики оборачивали мебель старыми одеялами, а позабытая всеми хозяйка-парса сидела у окна в инвалидной коляске и дожидалась свою сиделку.

Это было давным-давно, но в доме до сих пор ощущается что-то чужое, отдающее запахом незнакомого пота и слежавшейся пыли.

Я говорю, собравшись с духом:

— Нам надо поговорить. О моей маме.

Бабушка хмурится:

— А что с твоей мамой?

— Мы были у врача. У нее что-то не то с головой. Она все забывает.

— Это все потому, что она не замужем. Одинокие женщины всегда все забывают. — Секунду подумав, она добавляет: — К тому же это, наверное, наследственное. Ее отец был забывчивым.

Я пожимаю плечами, не соглашаясь, хотя помню, как дедушка по рассеянности предлагал бабушке газету, совершенно забыв, что она не умеет читать. Так бывало не раз и не два, и она всегда думала, что он над ней издевается, сердито отталкивала его руку и убегала из комнаты.

— Это не просто забывчивость, — говорю я. — Недавно был случай… Она меня не узнала. Забыла, кто я такая.

Бабушка кивает, я киваю в ответ. Эти кивки как бы подразумевают, что мы что-то поняли для себя, хотя я не знаю, что именно. Недопонимание рождается из-за ошибочной расстановки акцентов. Я уже и сама сомневаюсь, говорю ли всю правду или придаю смысл чему-то, чего даже не существует. Может быть, я представляю мамино заболевание гораздо серьезнее, чем оно есть? Хотя, наверное, это неплохо. Возможно, нам всем надо быть бдительней и осторожней.

Я размышляю, стоит ли пересказывать бабушке все, что говорил врач, стоит ли рисовать облако с амилоидной бляшкой.

Бабушка сидит, подперев щеку рукой.

— Твоя мама так растолстела! Ты видела ее пальцы? Распухли чуть ли не вдвое. Как мы будем снимать с нее кольца, когда она умрет?

* * *

Мы просыпаемся каждое утро и заново обнаруживаем себя в собственном теле.

Я прочла это в журнале, пока мама закрашивала седину в парикмахерской. Теперь я стараюсь бывать у мамы почаще и, когда есть возможность, сопровождаю ее повсюду. Я перепроверяю все приходящие ей счета и слежу, чтобы она не забывала пристегиваться в машине. Иногда, когда рядом есть люди, она кричит, что я ее мучаю и что ей хочется, чтобы я оставила ее в покое.

Там в журнале написано, что крепкий ночной сон способствует примирению супругов, поссорившихся накануне. Значит ли это, что семейное счастье недоступно для тех, кто страдает бессонницей и другими расстройствами сна?

Утром я сладко потягиваюсь в постели и чувствую, как мои руки и ноги тянут меня в разные стороны. Туловище становится перешейком промежуточного пространства между отяжелевшими конечностями. Дыра в области живота

гложет меня изнутри. Я всегда просыпаюсь голодной, и кажется, что все лицо превращается в один сплошной рот, сухой, теплый и темный, как яма с песком. Дилип лежит рядом, простыня под ним влажная и холодная. Он страдает ночной потливостью, но поутру не помнит, что ему снилось.

Я стираю белье каждый день, сразу, как только Дилип уходит на работу, и сушу простыни на свежем воздухе, во внешнем коридоре у нас на этаже. Соседи этого не одобряют, они не раз говорили Айле, что им не нравится разглядывать наше постельное белье в ожидании лифта. У них на двери висит табличка, сине-белая плитка с надписью: «Губернатор». У них такая фамилия. Они оба пенсионеры, она — бывшая школьная учительница, он — отставной офицер военно-морского флота. Когда миссис Губернатор уезжает навестить сестру в Бомбее, мистер Губернатор часами сидит у себя на балконе, курит одну сигарету за другой и плачет.

— Он, наверное, сильно по ней скучает, — говорит Дилип.

— Может быть, она ездит в Бомбей не к сестре. Может быть, он это знает.

Дилип удивленно глядит на меня, словно подобная мысль никогда не пришла бы ему в голову,

и его взгляд становится напряженным, будто он подозревает в измене и меня. А ведь было время, когда эта догадка могла бы его позабавить.

Я говорю:

— По-моему, ты не самый отзывчивый человек. И не самый чуткий.

В том журнале, попавшемся мне в парикмахерской, было написано, что эти качества необходимы для поддержания гармоничных, устойчивых отношений. Пока я говорю, Дилип сосредоточенно смотрит куда-то вдаль. Смотрит куда угодно, только не на меня. Словно так ему будет проще меня понять.

— Я вообще ничего не сказал, — отвечает он.

Вечером мы идем в тренажерный зал в нашем доме. Дилип надел свою майку из полиэстера, которую надо стирать дважды после каждой тренировки. Он выполняет упражнения с гантелями в метре от зеркала, резко выдыхая при каждом счете. Меня смущает его шумное дыхание. Есть в этом что-то не очень приличное. Все равно что рыгать или пускать ветры на публике. Мне, например, было бы неприятно, если бы кто-то услышал, как я храплю.

Я занимаюсь на лестничном тренажере, настроив наушники на музыкальный канал в

телевизоре, подвешенном под потолком. Рабочий день закончен, в зале полно народу, иной раз приходится ждать, когда освободится тот или иной тренажер. Раньше у меня не было необходимости в тренировках, но после тридцати мое тело стало напоминать перезрелую грушу.

Дилип говорит, что занятия в зале уже дают результат, но я не вижу этого результата и говорю мужу, что мне не нравится заниматься в одно время с ним.

Он не понимает, почему я обижаюсь, почему так болезненно реагирую на его комплименты и почему я не верю его словам. Иногда у меня возникает желание заглянуть ему в голову, посмотреть на дорожки, по которым движутся его мысли, такие прямолинейные и упорядоченные. Его мир замкнут и ограничен. Все, что я говорю, он понимает буквально: у каждого слова есть свое недвусмысленное значение, для каждого значения есть свое слово. Но мне представляются и другие возможные смыслы, временами меня тяготит бремя речи. Если провести линии от точки X ко всем другим точкам, так или иначе связанным с первой, я окажусь в центре запутанной паутины, из которой мне точно не выбраться. Любое высказывание открывает широкий про-

стор для неправильных толкований.

Дилип убежден, что в одной мысли, как в зеркале, отражается весь пейзаж разума. Он говорит, что, наверное, трудно быть мной.

— У твоей мамы явно что-то поехало в голове. — Бабушка стучит себя пальцем по виску. Она сидит по-турецки на чарпае, наблюдает, как я перебираю старые фотографии, и периодически переключает мелодии звонков на своих сотовых телефонах.

Я рассматриваю фотографии мамы, где она совсем юная девчонка с длинными, непослушными волосами. Каждый раз после мытья головы она тратила не один час, чтобы выпрямить свои кудряшки: нагревала утюг и разглаживала каждую прядку, положив сверху газетный лист. Я знаю по слухам, что уже с четырнадцати или пятнадцати лет она постоянно прогуливала уроки, целыми днями просиживала в придорожном ресторане на старом шоссе между Бомбеем и Пуной. Она заказывала себе пиво в больших бутылках и пила прямо из горлышка. Вынимала из школьной сумки пачку «голд флейк» и курила одну сигарету за другой. В ресторане всегда было людно. Путешественники, проезжавшие мимо на мотороллерах или такси, заходили туда пообедать или просто

воспользоваться туалетом — особенно иностранцы, едущие в ашрам с крошечным багажом и почти без денег. Мама с ними знакомилась, заводила беседу, иногда кто-то из них подвозил ее обратно в город. Бабушка убеждена, что именно в этот отвязный период без попечения и присмотра мама заинтересовалась ашрамом, но мне кажется, что ее тяга к саморазрушению была просто очередным симптомом некоей болезни, заложенной в ней изначально.

Примерно тогда же она начала одеваться в белое. Исключительно в белое, постоянно, как одеваются обитатели ашрама. Всегда только хлопок. Тонкий, почти прозрачный, хотя по старым выцветшим фотографиям трудно понять фактуру ткани.

— Вот странно, она так упорно одевалась в белое, хотя никто из ее знакомых не умер, — говорит бабушка. — Другие девчонки носили мини-юбки и брюки клеш. Но только не Тара. Она одевалась, как старомодная тетушка. Правда, она никогда не носила дупатту.

В пачке есть фотографии бабушки в день ее свадьбы. На них она выглядит очень юной, этаким большеглазым ребенком с испуганным взглядом, вряд ли старше пятнадцати лет. Она в красном

сари (все фотографии черно-белые, но, по идее, сари должно быть красным) с одной-единственной тоненькой линией вышивки. В наши дни такой скромный наряд посчитает зазорным надеть даже гостья на свадьбе, не то что невеста. Колечко у нее в ноздре бликует от фотовспышки. Ее отец стоит у нее за спиной, его огромный живот распирает рубаху. Вокруг собралась вся остальная бабушкина родня, ее сестры и братья, племянницы и племянники: смутно знакомые лица людей, которых я знаю.

Я говорю:

— Зачем вообще нужна дупатта?

Я всегда думала, что дупатта — совершенно бесполезный предмет одежды, ни верх, ни низ. Несуразный кусок ткани, закрывающий то, что и так уже закрыто.

— Дупатта — это женская честь, — говорит бабушка, поджав губы. Она отбирает у меня фотографию, а я пытаюсь представить, что же это за честь, которую так легко позабыть в шкафу.

Есть и другие снимки, которые бабушка не хранит в общей пачке, а прячет подальше. На этих снимках маме около восемнадцати. Здесь ее волосы короче, послушнее. Голубые тени на веках, на губах — розовая помада. Шелковая блузка,

украшенная изображением какой-то гибридной тропической птицы, заправлена в джинсы с высокой талией. Из-за толстых подплечников плечи приподняты чуть ли не до мочек ушей. Рот открыт, но я не пойму, то ли мама улыбается, то ли кричит.

Я не знала ее такой, но это та девушка, которой была моя мама, когда влюбилась в моего отца.

Это был золотой век, удивительный период, когда учтены и исправлены все ошибки прошлого, а будущее преисполнено самых радужных ожиданий. Так бабушка описывает то время, когда познакомились мои родители.

Свадебный сговор состоялся в тот день, когда папа и его мать были приглашены в гости к бабушке на послеполуденный чай, и им пришлось дожидаться маму, которая опоздала и примчалась вся взмыленная, запыхавшаяся, в мокрой от пота рубашке, сквозь которую просвечивали темные соски.

Папа был долговязым, костлявым парнем, все еще неуклюжим в своем новом, выросшем теле. Кожа над его верхней губой казалась присыпанной мелким черным порошком, брови клонились друг к другу и срастались на переносице. Даже его суставы тянулись навстречу друг другу, словно

под действием магнитного притяжения — локоть к локтю, колено к колену, — тело как бы стремилось закрыться, замкнуться в себе. Его мать периодически шлепала его по спине, чтобы он не сутулился. Он все время молчал, глядя в пол, а она, моя мама, говорила много и громко и не прятала глаз.

Поначалу казалось, что мама вполне образумилась, что ее подростковое бунтарство сошло на нет и она привела свое мировоззрение в соответствие с тем, что ее собственные родители называли достойным будущим.

Она постриглась, накупила ярких цветастых нарядов и начала ходить в клуб. Заявила, что хочет продолжить учебу, и даже задумалась о поступлении в колледж на факультет гостиничного хозяйства или банкетного сервиса. Папа учился в университете и готовился получить диплом инженера.

Через год после свадьбы родилась я.

Через пять лет после моего рождения папа подал на развод. Мама при этом не присутствовала.

Вскоре после развода папа уехал в Америку с новой женой.

— И что ты намерена с ними делать? — интересуется бабушка, наблюдая, как я запихиваю

фотографии в большой конверт.

— Покажу маме. Надо подстегивать ее память.

— Почему бы нам не проводить с ним больше времени? — спрашивает Дилип.

Он говорит о моем отце. Я смотрю в свой бокал.

Мы сидим в ресторане клуба, ждем наших друзей. Дилип пьет пиво, я — темный ром с диетической колой. Мы заказали досаи и сырные тосты с чили.

Дилип не понимал важности членства в клубе, пока не приехал работать в Индию. Раньше он приезжал ненадолго, что называется, с кратким визитом, в гости к друзьям или родственникам, и его повсюду возили в машинах с кондиционером. Но для многих из нас, выросших здесь, вся жизнь вращается вокруг клуба. Где еще ты найдешь столько зелени в центре города? Клубное здание — городской ориентир, известный каждому таксисту. Мой дедушка говорил, что железные дороги — не единственная достойная вещь, оставшаяся от британцев: есть еще клубы, куда мы приходили играть после школы, где наши родители и бабушки с дедушками «вращались в обществе», где мы учились плавать. У многих из нас именно здесь случился первый поцелуй,

в зарослях диких бугенвиллей, что растут вдоль стены, окружающей клубную территорию. Сюда мы ходили на наши первые концерты и новогодние утренники.

Я много лет не бывала в клубе, предпочитая новые бары, кафе и рестораны, выраставшие, как грибы, по всему городу. На их фоне клуб представлялся мне слишком чопорным и старомодным. Этакий реликт прошлых времен. Но в последние годы меня потянуло обратно в клуб. Есть что-то надежное и утешительное в том, чтобы год за годом встречаться с одними и теми же людьми, видеть все те же знакомые лица, все те же разбитые ступеньки, все те же трещины в стенах, которые не заделали за столько лет. Для меня это был островок постоянства в зыбком, непостоянном мире. Дилипу тоже понравилось в клубе.

Он шутит, что клубное членство досталось ему в приданое и уже только поэтому стоило на мне жениться.

На столах в ресторане стоят колокольчики, чтобы звать официантов. Спиртные напитки самые дешевые в городе. Вечером по четвергам на лужайке играют в лото. К услугам любителей азартных игр — карточный салон на восемь игорных столов.

— Можно встречаться с ним в клубе, — говорит Дилип. — Чтобы всем было удобно.

— Я боюсь.

Я упрощаю для краткости. Дилип способен понять только малую часть всех последствий, которые по сей день валятся, точно косточки домино: как в тот раз, когда по настоянию его мамы мы сказали гостям на свадьбе, что мой отец умер. Потому что объяснять правду было бы слишком сложно. К тому же Дилипу нравится все налаживать. Он убежден, что любая проблема решаема. И он будет рыть землю, пока не отыщет решение.

— Не надо бояться, — говорит он.

Я понимаю, что он пытается меня поддержать, и ценю эту попытку. Я улыбаюсь, киваю его словам, и Дилип улыбается мне в ответ, уверенный, что он свое дело сделал. Ему невдомек, что я просто-напросто увожу разговор в сторону, стараюсь скорее сменить тему, пока не пришли наши друзья. Потому что за тридцать шесть лет я не знала покоя ни единого дня, и несколько добрых, сочувственных слов в этот тихий приятный вечер не излечат болезнь, появившуюся задолго до нашей встречи, — болезнь, от которой в принципе нет лекарства.

1981

Мой папа родился в семье высокопоставленного военного, менял школы почти каждый год и прибегал к подкупу одноклассников, чтобы заручиться их дружбой. Чаще всего в роли взятки выступал импортный алкоголь из отцовских запасов. Его отец, генерал-лейтенант, за свою долгую службу сменил не одно место жительства, но каждый из его домов неизменно был полон красивых заграничных вещей. Деревянные башмаки, трикотажные гобелены, дорогой хрусталь — такой ценный, что мать моего отца всегда наблюдала за тем, как домработница моет его. Она не любила заходить в кухню и однажды с гордостью сообщила моей бабушке, что за всю свою жизнь не приготовила ни единого блюда. Ее семья происходила из древнего рода каких-то марварских князей, о чем она обязательно сообщала при каждой удобной возможности. Она знала нужных людей, выдала замуж двух дочерей, подобрав каждой прекрасную партию, но ее подкосила смерть мужа, который скоропостижно скончался во время командировки в Дели.

На свадебных фотографиях мой папа — юный жених верхом на нарядно украшенной лошади. В седле перед ним сидит маленький мальчик, племянник, с испуганными глазами. Видимо, лошадь встревоженно дергалась при каждом гудении горнов, и он боялся упасть. Жених и мальчик одеты практически одинаково: шапки-сафы, кафтаны с высокими жесткими воротниками и вышитой золотой каймой. Музыканты, возглавляющие свадебную процессию, одеты в красно-зеленые шервани и вполне могут сойти за почетных гостей.

Мужчины, окружающие музыкантов со всех сторон, свистят и хлопают в ритме дхолаков. Женщины пляшут чуть позади, придерживают свои сари, машут руками, наблюдают за молодыми людьми, но не присоединяются к их компании. На одном снимке все участники шествия стоят перед входом в какое-то здание. Вероятно, банкетный зал, где моя мама-невеста и ее родня дожидаются жениха. Среди нарядных гостей затесались и просто прохожие в обычной одежде. Они улыбаются, тянут руки, им приятно присоединиться к этому красочному спектаклю. Прожектор светит на жениха. Ослепительно-желтый луч, которым управляет помощник фотографа. Папа щурится

от яркого света, пытается сморгнуть пот. На многих снимках у него закрыты глаза. На тех кадрах, где его глаза открыты, он смотрит на лошадь.

Есть фотографии и из банкетного зала. Среди баррикад из массивной мебели и многочисленной дальней родни основные участники действа готовятся к самому главному: к передаче приданого и невесты.

Женщины окружают невесту, жмутся друг к другу в страхе, понятном только им, женщинам. Мужчины скучают в сторонке.

Как она выглядела вживую, без ярких прожекторов, обесцветивших ее кожу? Как она восприняла незнакомые лица своей новой семьи? Жених, мой отец, кажется слишком растерянным, слишком юным, чтобы осознать свою роль в санкционированном похищении, в котором должен принять участие.

Уже к утру для нее все изменится, для этой девочки в свадебном сари. Новый муж, новая жизнь. Возможно, оставшись наедине с собой, она до сих пор плачет о прошлом, скорбит о конце, не увенчавшемся смертью.

Бабушка говорит, что ее беспокоило, как мама будет справляться в своем новом доме.

— Твоя мать была странной с самого детства.

Никто не знал, чего она хочет от жизни. Как я понимаю, с тех пор мало что изменилось. Но и мать твоего отца тоже была очень странной. Две странные женщины под одной крышей? Сразу было понятно, что добром это не кончится.

Мама не раз рассказывала мне о странностях ее ранней семейной жизни. Ее свекровь каждый день ела маринованный кашмирский чеснок, не желая повторить судьбу мужа, умершего от остановки сердца. Весь дом пропитался характерным запахом переваренного чеснока.

И вот первый день в новом доме. Свекровь выдала маме кусок шершавого белого мыла и крошечное полотенце для рук вместо нормального банного полотенца. И стопку старых заношенных сари. Давным-давно их носила свекровь, а теперь предстояло носить моей маме. Она понюхала ткани, вдохнула запах нафталиновых шариков и многолетней пыли. Ее аж передернуло.

На второй день свекровь увидела, как мама потерянно бродит по дому, и позвала ее в гостиную, где гремело радио.

— Чем занимаешься? — спросила свекровь.

— Ничем, — ответила мама.

Это был честный ответ. Заняться было действительно нечем.

— Посиди со мной, послушай музыку.

Мама сидела в гостиной, пока ей не наскучили классические голоса. У нее были свои музыкальные предпочтения. Она слушала «Doors», Фредди Меркьюри. Но, когда она попыталась встать, свекровь удержала ее, схватив за руку:

— Не уходи. Составь мне компанию.

Эти ежедневные посиделки под гремящее радио могли затянуться на шесть часов кряду. Слуги подавали обед и чай прямо в гостиную. Мамина свекровь не выпускала из рук пинцет. Она выщипывала с подбородка жесткие волоски, находя их на ощупь. Без помощи зеркала. Мама не раз с ужасом наблюдала, как свекровь прищемляет кожу острым пинцетом. Весь ее подбородок был испещрен крошечными шрамиками и бурыми струпьями.

— Знаешь, что было бы мило? — однажды сказала свекровь. — Было бы очень мило, если бы ты встречала моего сына в прихожей, когда он возвращается с учебы. Я всегда ждала мужа у двери, когда мы только что поженились.

Она указала на большую фотографию в рамке, висевшую на стене. Брови мужчины на снимке хмуро сходились на переносице, сердитый взгляд был направлен куда-то в сторону. Портрет обрам-

ляла гирлянда сухих цветов.

— Хочешь сделать приятное мужу? — спросила свекровь.

Мама смотрела на широкую щель под входной дверью, сквозь которую солнечный свет беспрепятственно проникал внутрь. Смотрела, не отрывая глаз. Ждала, когда эта полоска света переломится пополам. Когда ее перечеркнут две ноги. Тень приближающегося тела.

Мама уже тысячу раз пожалела, что не отказалась сразу. Не нашла способа уклониться от этой тоскливой обязанности. Они все с приветом, все в этой новой семье не в себе. Уж лучше бы она и дальше сидела в гостиной.

«Попробуй. Может быть, тебе понравится».

Что тут может понравиться? Что хорошего в том, чтобы стоять у двери, как собака?

Без пяти шесть она занимала свой пост в прихожей, стояла навытяжку, как часовой, переминалась с ноги на ногу — иногда десять минут, иногда полчаса, в зависимости от пробок на улицах и от того, сколько времени тратил муж на дорогу до дома.

Дверь гостиной была приоткрыта, и свекровь периодически выглядывала в коридор, чтобы убедиться, что мама честно стоит на месте. На

пятый день даже свекровь поняла, что подолгу стоять у двери утомительно и, по сути, бессмысленно, и был придуман такой хитрый план: слуга дежурил у окна в кухне и кричал, когда видел, как молодой сахиб приближается к дому. В ту же секунду свекровь начинала взволнованно махать руками, выгоняя маму в прихожую.

Обычно все происходило так: без пяти шесть свекровь выключала радио — хотя ее сын, мамин муж, мой будущий отец редко когда добирался до дома раньше половины седьмого — и кричала слуге, чтобы он шел к окну. Маме нравились эти минуты тишины, но она не могла ни откинуться на спинку дивана, ни закрыть глаза — свекровь тут же стучала ее по плечу.

Однажды мама не выдержала и сказала:

— Я не хочу слушать музыку. Не хочу ждать в прихожей. Не хочу и не буду.

Свекровь ничего не сказала. Мама решительно встала и ушла к себе в комнату. Голос Кишора Кумара как будто навечно застыл в пространстве.

Комната была клеткой, но только там мама испытывала хоть какое-то подобие облегчения. Иногда она билась всем телом о стену и беззвучно кричала. Иногда просто ложилась на застеленную постель, закрывала глаза и уносилась в

мечтах далеко-далеко, нервно постукивая рукой по рыжей тумбочке у кровати. Матрас был непривычно тонким и жестким. Покрывало из синтетической ткани грязно-серого цвета наводило тоску. Пол, выложенный огненно-красной мраморной плиткой, при определенном освещении казался пылающей бездной, куда запросто можно упасть. Перед зеркалом на трюмо стояла чашка, где мама держала расческу и щетку. Мама опрокидывала эту чашку, поднимала и опрокидывала опять, вслушиваясь в тихий стук. Она аккуратно снимала со щетки свои вычесанные волосы, скручивала в длинные нити и пропускала их между зубами. Иногда она туго наматывала на палец один волосок и наблюдала, как он врезается в кожу. Прискучившись этим занятием, мама снова ложилась, закинув ноги на спинку кровати, разглядывала свои тонкие лодыжки и погружалась в ленивые грезы о муже, гадая, что он сейчас делает, в эти самые мгновения. Она размышляла о муже, обо всех своих прошлых мужчинах, с которыми у нее что-то было, пусть даже вскользь и всего один раз, но они все оставили на ней отпечатки — с тем пылом, которого ей так отчаянно не хватало. Мама знала, что браки почти никогда не бывают счастливыми, но была

слишком юной, чтобы смириться с мыслью, что отныне и впредь это будет ее единственная реальность. Она по-прежнему считала себя особенной, исключительной и неповторимой. По-прежнему верила, что другой такой нет и не будет.

Она наблюдала, как движутся стрелки на циферблате часов, ждала, когда закончится день, прислушивалась к голосам в коридоре, к шагам за плотно закрытой дверью.

Со временем мама набралась смелости заглянуть в папин шкаф. Там было много одежды, которую он никогда не носил. Одежды, которая наверняка уже стала ему мала. Разглядывая его вещи, мама мысленно составляла список всего, что можно отдать. Она трогала рукава каждой рубашки. Подолгу рассматривала стершиеся подошвы старых папиных туфель, те участки на его майках, где ткань истончилась. Ей нравилось изучать его вещи — неторопливо, в свое удовольствие, — как она никогда не решалась изучить его самого. Она терялась, когда он был рядом. Иногда ей казалось, что она даже не помнит, как выглядит ее муж.

Когда ее муж, мой отец, возвращался домой с учебы, он первым делом здоровался со своей матерью, потом наскоро мылся и усаживался за

учебники. После ужина, когда его мать уходила в гостиную, он обычно шел следом за ней, садился рядом, клал голову ей на колени. Она прижимала ладонь к его лбу, гладила по волосам так настойчиво, словно пыталась задать направление их роста, но почему-то всегда не в ту сторону, куда они росли сами. Лежа головой на материнских коленях, мой отец наблюдал за моей мамой, своей женой. Его мать наблюдала за ними обоими. Так за несколько месяцев были четко очерчены все границы.

Бывали дни, когда муж и жена почти не разговаривали друг с другом. Мама считала, что он был странным, хмурым и замкнутым. Каким-то чужим и далеким. Его мать постоянно твердила, что он должен бросить все силы на то, чтобы добиться успехов в учебе, и он хотел ей угодить. Наградой за эти старания станет поездка в Америку, где среди холодных снегов он получит диплом магистра, будет каждый день есть гамбургеры и накупит себе целую кучу «вареных» джинсов. Мама тоже прониклась этой мечтой, убедила себя, что ей это нужно. Было время, когда ей и вправду хотелось, чтобы муж ею гордился, чтобы он приводил ее в клуб и предъявлял обществу как свое лучшее украшение. Она обрезала длин-

ные волосы, сделала модную стрижку и начала одеваться в цветастые шелка для выхода на воскресные обеды. Она мечтала и строила планы, представляла себе, как все будет в Америке: они только вдвоем, муж и жена, любящие друг друга, и тогда он непременно раскроется и проявит свою романтическую натуру, ту часть себя, что не заполнена математикой и сыновним почтением.

Мама узнала о своей беременности примерно тогда же, когда узнала, что свекровь собирается ехать в Америку вместе с ними.

— Мне придется поехать с вами, — объявила она, воздев пинцет к потолку. — Кто-то должен заботиться о хозяйстве, а одна ты не справишься.

Из-за неизбывной тоски и отчужденности от своей собственной семьи — бабушка не желала выслушивать никаких жалоб — мама чувствовала себя одинокой и всеми покинутой. Или, может быть, дело было во мне: во всплеске пренатальных гормонов и страхе перед совсем другой жизнью, что начнется с рождением ребенка. Как бы там ни было, мама начала потихонечку возвращаться к своему прежнему «я».

Она снова растила волосы. Перестала носить подплечники и пользоваться косметикой.

Она избавилась от всех старых заношенных са-

ри, полученных от свекрови, и свалила пропажу на якобы нечистую на руку пожилую служанку.

Она украдкой покуривала, хотя знала, что это вредно для плода.

Она вспомнила о своих прежних хлопковых одеждах, убрала подальше в шкаф кружевные бюстгальтеры, которые накупила в порыве энтузиазма, и объявила, что хочет вступить в сатсанг и общаться с гуру.

Это было странное заявление от девушки, никогда не проявлявшей ни малейшего интереса к религии. Свекровь попыталась ее отговорить, но мама была непреклонна. Она твердо решила, что отныне и впредь ее не должно волновать, что о ней думают другие. Даже когда я уже родилась, она каждый день исчезала из дома с утра до вечера, истекая грудным молоком, оставляя меня ненакормленной.

— Бери ее с собой, — сказала моя дади-ма, когда я достаточно подросла. Отношения между мамой и бабушкой к тому времени испортились еще больше, а моя вторая бабушка, мать отца, меня не любила. Еще одна девочка, еще одно наказание на ее голову.

Так я стала исчезать вместе с мамой. Мы выходили из дома с утра пораньше и возвращались

уже ближе к ночи. Каждый вечер она приходила домой, пропахшая потом и радостью, — и однажды вообще не пришла.

Историю маминой жизни не найдешь в старых фотоальбомах. Эта история хранится в пыльном металлическом шкафчике у нее дома. Мама не запирает дверцу. Может быть, потому, что, с ее точки зрения, ничего ценного там внутри нет. Или, может быть, она надеется, что содержимое шкафа однажды исчезнет само по себе. Но открыть дверцу все равно непросто. Хотя в Пуне не так уж и влажно, петли насквозь проржавели, шарниры почти намертво заклинило, а внутренняя сторона дверцы покрылась тонким налетом плесени. Шкаф как будто подняли с морского дна.

Внутри — стопка сари. Метры и метры тканей, аккуратно переложенных папиросной бумагой. Одежда из других времен: парчовые банараси, сотканные с вплетением мерцающих золотом нитей. Среди всего этого великолепия особенно выделяется мамино свадебное сари. Самое красивое, самое тяжелое из всех нарядов. Ткань очень жесткая, почти хрустящая. От нее пахнет йодом и нафталином, но золотое шитье не потускнело со временем, не утратило своего блеска. Это значит,

оно настоящее. Подлинный драгоценный металл. Бабушка с дедушкой не поскупились. Потратили целое состояние, чтобы справить достойный наряд для своей единственной дочери. Красный свадебный цвет такой яркий, что режет глаза. Остальное приданое хранится на той же полке: отборные сари и ткани, чистый шелк и богато украшенная парча, — одежда, которая ознаменует для юной невесты переход в новую жизнь в новой роли замужней женщины, наиглавнейшей из всех предназначенных ей ролей. Предполагалось, что этих нарядов ей хватит на год вперед и муж не почувствует бремени новых расходов, связанных с появлением в доме жены. Или почувствует, но не сразу. Теперь все это богатство пылится в шкафу: туссарский шелк рубиновых и изумрудных оттенков, дупатта, украшенная узелковой вышивкой, сари кандживарам пастельных цветов и даже ярко-зеленая бархатная патола.

На нижних полках — совсем другая одежда. Эту одежду я помню. На нескольких старых хлопчатобумажных футболках виднеются выцветшие принты, но в основном здесь все белое. Чистая, нетронутая белизна. Если я подношу эти вещи поближе к лицу, то по-прежнему чувствую мамин запах, словно она их носила буквально вчера. Он

пробивается даже сквозь запах пренебрежения, сырости и тоски, что рождается при долгом отсутствии солнечного света. Это простой, грубый хлопок. Будничная, совершенно не праздничная одежда. Но белый цвет все еще яркий, где-то почти ослепительный, где-то чуть отдающийся в синеву: цвет вдовьего траура, цвет скорбящих и безутешных, цвет отрекшихся от земных благ, цвет святых и монахов, цвет просветленных, больше не принадлежащих этому миру, уже шагнувших одной ногой на другой план бытия. Цвет гуру и его верных учеников. Возможно, для мамы эти белые хлопковые одежды были способом обрести свою правду, этаким чистым листом, на котором она заново перепишет себя и найдет путь к свободе. Но для меня они означали совсем другое. Белый саван, накрывший нас с ней, как живых мертвецов. Белый, настолько строгий и непреклонный, что это уже выходило за рамки приличий. Белый как метка изгоев. Для мамы — цвет ее общины, а для меня — цвет предельного разобщения. Эти белые одежды отделили нас от семьи, от друзей и от всех остальных. Из-за них моя жизнь на несколько лет превратилась в тюрьму.

* * *

От моего дома до маминого можно добраться пешком за сорок пять минут, если идти самой короткой дорогой и подолгу не ждать «зеленого» на переходах. Путь лежит мимо трех торговых центров, расположенных как бы в вершинах чуть скособоченного треугольника. В одном из них есть кинотеатр, и в дни громких кинопремьер стоянка у входа забита машинами.

Двухполосный автомобильный мост пересекает узкую речку, которая разливается в сезон дождей и почти полностью пересыхает в разгар лета. Иногда вонь стоячей воды и гниющего ила доходит до маминых окон. Берега плотно застроены. Сплошь элитные жилые комплексы и пятизвездочные отели, непременно упоминающие вид на реку на своих сайтах. На заборах вокруг стройплощадок висят гигантские щиты с рекламой индийских мыльных опер и косметических средств для отбеливания кожи.

Утренний поток машин замирает на каждом углу. Вся Пуна — сплошная дорожная пробка. Каждый взрыв воя клаксонов бьет по ушам, я всерьез опасаюсь оглохнуть. Скоро наступит зима, будет резкое похолодание. Жизнь застынет,

замедлится. Зимой люди вялые и неспешные. Резкие движения чреваты шизофренией и больным горлом.

Уже на маминой улице я прохожу мимо лавки зеленщицы Хины. Раньше она торговала с тележки на улице, а теперь стала владелицей настоящего магазина. Дилип говорит, что она являет собой образец современной индийской истории успеха и что о ней надо написать книгу. Я машу ей рукой, но она меня не замечает. Не видит. У нее отслоение сетчатки, но она не желает ложиться на операцию. Рядом с ее магазинчиком — парикмахерская под названием «Рай для волос Муниры». Дилип однажды заметил, что фраза построена криво, получается, что в раю пребывают только волосы самой Муниры, а всем остальным рай не светит. Чуть дальше — аптека, где продаются электроприборы, а прямо напротив, на другой стороне улицы — магазинчик электроприборов, где незаконно торгуют лекарствами.

У калитки при входе на территорию жилого комплекса меня приветствует старый привратник. Я жду лифта, здороваюсь с миссис Рао, которая хмурится, глядя на меня, а ее померанский шпиц гадит прямо на пол у цветочного горшка. Грязь намертво въелась в прогнившие швы

между напольной плиткой. Плитка расшатана и болтается под ногами. Ремонта в доме не было много лет, он потихонечку рушится, подобно многим другим домам в Пуне. Я вхожу в мамину квартиру, открываю дверь своим ключом. Я себе сделала дубликат.

В прихожей курятся семь ароматических палочек. Я кашляю, мама выглядывает из кухни. Я слышу запах арахиса, жарящегося в масле вместе с семенами тмина. Я снимаю кроссовки, как обычно, не расшнуровывая. Холодный пол пахнет молоком с лимонным сорго. Окно кухни выходит на восток. В окно льется свет. Мама — темный силуэт у плиты. Она опрокидывает в кастрюлю миску разбухшей тапиоки, накрывает кастрюлю крышкой и оборачивается ко мне:

— Ты уже завтракала?

Я отвечаю: нет. Хотя я уже завтракала.

Я накрываю на стол, как мы привыкли: ставлю стаканы для воды и простокваши, не кладу ложку для мамы, потому что ей нравится есть руками. Она расставляет мисочки с острым перцем. Красный — сухой, молотый в порошок. Зеленый — свежий и мелко нарезанный. Кастрюля ставится прямо на стол, и, когда мама снимает крышку, над столом поднимается облако аромат-

ного пара.

Я беру себе щедрую порцию. Шарики тапиоки рассыпаются по тарелке, оставляя блестящие следы.

Отправляю в рот первый кусок.

— Кое-чего не хватает.

— Чего не хватает?

— Соли. Лимона. Картошки.

Мама откусывает кусочек и медленно жует, откинувшись на спинку стула. Я жду, что она психанет, но она молча встает и идет в кухню. Я слышу, как открывается и захлопывается дверца холодильника. Слышу, как мама гремит посудой. Она возвращается с крошечным подносом и ставит его на стол. На подносе — солонка и мисочка с лимонным соком.

— А как же картошка?

— В сабудану кичади никогда не кладут картошку.

— Ты всегда раньше клала.

Она медлит с ответом.

— Сегодня картошки не будет.

Я гоняю по тарелке шарики тапиоки и смотрю на нее.

— Не надо так на меня смотреть.

— У тебя несерьезный подход.

Она смеется, запрокинув голову. Я вижу кусок пережеванной тапиоки, прилипший к ее зубам.

— Несерьезный подход к чему?

— Зачем ты сказала Дилипу, что я вечно вру?

— Я такого не говорила.

Теперь мне действительно начинает казаться, что ее забывчивость — очень удобное свойство. Замечательная отговорка, чтобы не отвечать за свои слова и поступки. Мне кажется, это нечестно: она так легко забывает о прошлом, в то время как я переполнена прошлым почти до отказа. Я заполняю воспоминаниями блокноты, шкафы, целые комнаты, а она, моя мать, погружается в благостный туман забвения. С каждым днем глубже и глубже.

Она откусывает еще кусочек.

— Говорят, что, когда начинает отказывать память, пробуждаются другие способности.

— Какие способности?

— Кто-то видит свои прошлые жизни, кто-то беседует с ангелами. У кого-то открывается дар ясновидения.

— Ты сумасшедшая.

Я вынимаю из сумки блокнот. Открываю последнюю страницу и добавляю сегодняшнюю дату к списку на сорок с лишним пунктов. Рядом

с датой пишу: «Картошка».

Мама щурится, глядя на мой блокнот, и качает головой:

— Как тебя терпит твой муж?

— Что ты вообще понимаешь в семейной жизни, если ты даже не замужем?

Когда я говорю, мама шевелит губами, и у меня мелькает мысль, что она мне беззвучно суфлирует. Мы уже говорили такое раньше? Те же слова, те же фразы? Я жду ответа, но время идет, и молчание затягивается. У меня вспотели подмышки, и все внутри вздыбилось.

Она улыбается. В ярком солнечном свете ее зубы кажутся нечеловечески острыми. По-моему, ей нравятся эти неловкие паузы в преддверии очередной бурной сцены. Мое сердце бьется быстрее, дыхание учащается. Я тоже готова к схватке.

Легонько похлопав меня по руке, она тычет пальцем в мой блокнот:

— Вместо того чтобы переживать о моем сумасшествии, ты бы лучше побеспокоилась о своем.

Я смотрю на свой список — на ровные линии и колонки — и беззвучно захлопываю блокнот. Шарики тапиоки у меня на тарелке уже начали подсыхать. Накал страстей потихонечку остывает. Через пару минут мы забудем о резких словах,

сказанных друг другу.

Накапав немного лимонного сока в чашки с горячей водой, мы идем на балкон. На веревке сушатся мамины бюстгальтеры. Старые и застиранные, латаные-перелатаные.

— Выкинь их и купи себе новые. — Я прикасаюсь кончиком пальца к тусклому кружеву на одном из самых заношенных экземпляров.

— Зачем? Кто их видит?

Внизу, во дворе, младенец заходится плачем на руках у няни. Женщина яростно укачивает орущего малыша и о чем-то беседует с привратником. Истошные вопли ребенка напоминают крик зверя, которому больно. Мы сидим молча и ждем, когда он устанет кричать, но ор продолжается без перерывов. Няня все так же неистово укачивает своего подопечного, тяжело дышит, в панике озирается по сторонам и, наверное, надеется, что хозяева ничего не услышат.

Я говорю:

— Не понимаю, почему ты не хочешь купить себе новые бюстгальтеры.

Я не планировала возвращаться к этому разговору, но почему-то вернулась. Ребенок по-прежнему плачет. Я гадаю, чего он хочет, и сама толком не знаю, почему меня это волнует.

— Я должна быть примером.

— Примером кому?

— Тебе. Нельзя все время переживать, что скажут другие. Не все в этой жизни — показуха для мира. Иногда мы делаем что-то лишь потому, что нам так захотелось.

Если бы наши с ней разговоры были картой маршрутов, то все дороги неизбежно сходились бы в этом пустынном тупике, из которого нам не выбраться при всем желании.

Я знаю, к чему все идет, но глотаю наживку:

— Ты считаешь, я делаю что-то, чего мне не хочется?

Она изображает великодушный порыв уклониться от разговора:

— Давай не будем опять начинать…

Категоричный отказ от уловок:

— Ты сама начала.

Встречный отказ:

— Не заводись. Это не важно.

Уже неприкрытая злость:

— Для меня важно.

Дальше все развивается по предсказуемому сценарию. Она спрашивает, почему я никак не оставлю ее в покое, почему вечно набрасываюсь на нее, словно бешеная собака с оскаленными

клыками. Тебе больше нечем заняться, говорит она, кроме как издеваться над собственной матерью?

Не замешкавшись ни на секунду, я говорю, что она всю жизнь думает только о себе. Она делает обиженное лицо, но лишь на секунду.

— А что в этом плохого, когда человек думает о себе?

Я упираюсь в обычный тупик. Дальше хода нет.

Я хочу перечислить по пунктам, что в этом плохого, но никогда не могу подобрать нужных слов. Хочу спросить у нее, что такого ужасного в том, чтобы прислушиваться к желаниям других и делать что-то приятное близким людям. Мама всегда избегала любых притеснений. Избегала всего, что виделось ей посягательством на ее драгоценную свободу. Брак, диеты, медицинские обследования. В ходе этого бегства длиною в жизнь она растеряла весь «лишний жир». Так она называет людей, ей неприятных. Говорит, что ее не прельщает общество самодовольных унылых невежд. И никогда не прельщало. Неприязнь, кстати, была обоюдной. Многие мамины сверстники в клубе давно от нее отвернулись. Родственники старшего поколения, питавшие

нежные чувства к малышке, которой они ее помнят, либо охвачены старческой немощью, либо мертвы. Да, рядом с мамой есть люди, которые ее любят, но, мне кажется, их исчезающе мало. Мне кажется, мы всегда были одни.

Она сама выбрала такую жизнь. Возможно, в ней есть свои плюсы, но лично мне видятся только минусы. Сплошные потери. Оно действительно того стоит? Она сама верит, что оно того стоит? Я пытаюсь представить, что она чувствует, когда я ухожу, возвращаюсь обратно к Дилипу, а она остается одна. Может быть, для нее это был вовсе не выбор, просто однажды она придумала себе путь — не такой, как у всех остальных, — и идет по нему исключительно в силу привычки, потому что не знает других путей. Я давно собираюсь спросить: ты столько лет убегаешь от всех и вся, неужели тебе ни разу не захотелось остановиться и крикнуть: «Я здесь! Почему вы за мной не бежите?» Может быть, ей как раз и хотелось, чтобы ее догнали, вернули домой и убедили, что она им нужна, что им без нее очень плохо?

Но все эти вопросы растворяются в небытии, когда я вижу, как мама сидит, откинувшись на спинку стула, и потягивает свою кислую воду. Она закрыла глаза и что-то тихонечко напевает

под аккомпанемент воплей младенца.

* * *

Дилип решил обратиться в вегетарианство, потому что вчера в Америке лев убил львицу.

Они оба выросли в зоопарке, в одном вольере. Прожили в неволе всю жизнь, неоднократно спаривались друг с другом. Львица рожала детенышей, которых у нее отбирали совсем в раннем возрасте. И вот однажды, в людные выходные, лев и львица сидели в своем вольере, мимо ходили детишки, тыкали в них пальцами, спрашивали у родителей, настоящие ли это львы, как те, которых показывают в передачах на канале «Нэшнл географик». В газете зачем-то об этом упомянули, словно львы поняли, о чем идет речь, обернулись друг к другу и сказали: «*Дети интересуются, настоящие мы или нет. Давай-ка покажем, какие мы настоящие*».

И лев откусил львице голову.

На самом деле не откусил, а взял ее голову в пасть и держал, не давая ей вырваться, пока она не задохнулась у него во рту на глазах у вопящих людей.

Автор статьи ставит перед читателем ряд вопросов: возможно, львы были в депрессии?

Возможно, здесь мы имеем ту же проблему, что в «Морском мире» и других дельфинариях? Возможно, это не единичный случай, а лишь один из примеров масштабного явления, которое пытаются скрыть от широкой публики? Насколько вообще правомочно держать животных в неволе, представлять зоопарки учреждениями культуры и отдыха и поощрять их как развлечение для детей? Разве общественность не имеет права знать правду?

Дилип говорит, что зоопарки он ненавидит с детства. Нет ничего хуже, чем глазеть на живое существо в клетке. Те же самые чувства он испытывал при изучении колониальной истории. В учебнике была картинка на всю страницу: изображение готтентотской Венеры с цепью на шее и сигаретой во рту. В сопроводительном тексте говорилось, что после смерти ее тело расчленили и часть ее органов выставили в заспиртованном виде на всеобщее обозрение в музее. Дилип рассказывал мне, что подростком, когда они всей семьей ездили в Бомбей, он не ходил на пляж в Джуу, потому что двоюродный брат однажды сказал, что когда-то здесь погибали верблюды: задыхались во влажном воздухе. Их гигантские легкие отсыревали, как намокшие наволочки.

Есть вещи, которые по-настоящему задевают моего мужа, и невозможно заранее предугадать, что именно его заденет. Он ел кейл еще до того, как на него пошла мода, и однажды попробовал сварить мыло в домашних условиях. Летом он выставляет на подоконник миски с водой, чтобы птицы, страдающие от жажды, могли попить. Расизм, сексизм и жестокое обращение с животными, с его точки зрения, вещи одного порядка, и он не делает между ними различий.

Вечером звонит его мама, я ей рассказываю о львах. Она смеется над сыном, говорит, что понятия не имеет, где он набрался таких идей, разве что, может быть, в то далекое лето в Сурате, когда он гостил у родителей ее мужа, которые были убежденными строгими вегетарианцами. Она сама даже не слышала о происшествии со львами в Милуоки, и ее удивляет, что индийским газетам больше не о чем писать, кроме как об американских зоопарках.

Я передаю Дилипу слова его матери, и он пожимает плечами:

— У каждого человека есть право на свое мнение.

Он улыбается, не размыкая губ, и у меня возникает неодолимое желание кое в чем признаться.

— В детстве мне нравилось убивать слизней. — Я вдруг понимаю, что сильно потею, словно из меня выходит какой-то горький яд. — В ашраме.

Муж глядит на меня, его лицо совершенно непроницаемо.

— Окей.

— Я сыпала на них соль, они корчились и кричали. Кали Мата меня научила.

Он отвечает, глядя в зеркало:

— Слизни вроде бы не кричат.

— Кричат. Я помню, как они кричали.

— Ничего страшного. Ты была совсем маленькой.

— Сегодня мы с мамой опять поругались.

— Из-за чего?

— Из-за всего, как обычно.

— Да уж, вы знаете, как побольнее задеть друг друга.

На ужин он ест только дал и немного сырых овощей и говорит, что уже чувствует себя лучше, чище и легче. Буквально после трех приемов пищи.

Два дня спустя, за супом из киноа и шпината, Дилип признается, что его мама была права. В то далекое лето, когда он ездил в Сурат в штате Гуджарат, там действительно кое-что произо-

шло. Ему рассказали о его тете. Вернее, о тете его отца. Ее звали Камала. Она родилась в 1923 году, и ее отец первым во всем Бхавнагаре купил себе автомобиль. Он также был первым, кто позаботился о достойном образовании не только для своих сыновей, но и для дочерей. Однако Камала категорически воспротивилась, когда пришла ее очередь поступать в университет. Она умоляла отца отпустить ее в монастырь. Она хотела стать джайнской монахиней, жить рядом с храмами в Палитане и каждый день подниматься на вершину священного холма Шатрунджая, куда ведут тысячи ступеней, истертых ногами паломников. Она рассказала отцу о своем повторяющемся сне, в котором ей неизменно являлся лик джайнского бога Адинатха, чья статуя стоит в одном из храмов Палитаны. Но каждый раз, когда Камала пыталась к нему приблизиться, его лицо исчезало во тьме.

Я не особенно хорошо разбираюсь в джайнизме, но знаю, что джайны придерживаются строжайшей вегетарианской диеты, запрещающей не только мясо и яйца, но и растения, которые нужно рвать с корнем, чтобы употребить в пищу. Джайнские блюда обычно готовятся без лука и чеснока. Мне придется заново учиться готовить,

если Дилип решит удариться в крайности. Джайнские монахини и монахи считают священной любую жизнь, завязывают себе рты куском белой материи и прежде, чем сделать шаг, подметают перед собой землю, чтобы ненароком не вдохнуть или не раздавить какую-нибудь букашку. Однако те джайны, которых я знаю лично, запросто носят одежду из натуральной кожи и совсем не задумываются о том, как живется коровам в связи с развитием индийского промышленного производства молочных продуктов.

У меня ощущение, что меня предали. Словно мне вдруг открылась какая-то темная тайна, которую лучше не знать.

— Ты мне не говорил, что ты джайн.

— Только на четверть. С папиной стороны.

— Откуда Камала узнала, чей это храм?

Дилип барабанит пальцами по столу.

— Я не знаю. Может, она там бывала.

Я киваю, и он продолжает рассказывать, но уже без прежнего воодушевления.

Камале было отказано в ее просьбе. Ее побили и заперли в комнате. Семь дней мать носила Камале еду и каждый раз забирала тарелки нетронутыми. На восьмой день отец пришел сам и увидел, что его дочь уже нарядилась в белые

одежды джайнских монахинь. В ярости он сорвал с ее головы тонкое хлопковое покрывало. Картина, открывшаяся его взору, на секунду лишила его дара речи. У Камалы не осталось ни одного волоска. Воспаленная кожа на голове кровоточила множеством мелких ранок.

Он спросил, что она с собой сделала, и Камала сказала, что началась Парьюшана, священный для джайнов праздник, время воздержанности и благочестия. По традиции в Парьюшану джайнские монахини вырывают все волосы на голове по одному волоску — в наказание за прегрешения.

Я прерываю его рассказ:

— Сколько в среднем волос на голове у человека?

Он пожимает плечами.

— Сколько тысяч ступеней ведут на вершину холма в Палитане?

— Я точно не знаю, — говорит Дилип. — Но много.

— В этой истории наверняка многое преувеличено.

— Этого мы не знаем.

— Как раз таки знаем. Еще лет через двадцать появятся новые подробности, и она будет ходить

по воде.

— Я просто пытаюсь сказать, что в нашей семье есть призвание.

— Призвание к чему?

— К радикальному неприятию насилия.

— Как и призвание к прямо противоположному, — говорю я и вспоминаю любовь его матери к американским праздникам с непременной запеченной индейкой в качестве традиционного угощения. Вспоминаю меха, которые она носит зимой. Вспоминаю его дядю, избивавшего свою жену.

Я не понимаю, как неприятие насилия согласуется с тем, чтобы выдергивать волосы у себя на голове или каждый день бегать вверх-вниз по лестнице, состоящей из нескольких тысяч ступеней. Мне хочется спросить у Дилипа, только ли джайнские монахини так издеваются над собой или монахи тоже, но я вижу, какое у него лицо, и не решаюсь задать вопрос.

— Что-то тебя беспокоит, — говорит он. — Но ты не волнуйся. Никто не требует, чтобы ты перестала есть мясо, если ты чувствуешь, что не справишься.

* * *

Мое первое воспоминание из детства: великан в пирамиде. Великан сидит на возвышении в центре. Он сам точно белая пирамида, состоящая из белых одежд, седых длинных волос и густой бороды. Вокруг него — пирамиды поменьше, такие же белые. Одна из них — моя мама, капля в застывшем море пирамид. Я поднимаю глаза к потолку и вижу там в вышине точку, где сходятся наклонные стены, устремленные в небо снаружи.

Малые пирамиды сидят, скрестив под собой ноги. Похоже, их цель — как можно точнее скопировать позу сидящего великана. Я самая маленькая в этой комнате и не знаю, сумею ли вырасти. Мне никто не рассказывал, как это делается, и я боюсь, что не справлюсь. Издали все пирамиды похожи, но, если подойти ближе, некоторые пугают: у них прыщи, у них волосы на щеках и огромные поры на лоснящихся носах.

Тут есть еще одна девочка примерно моего роста. Она стоит в уголке, держит в руках грязную тряпку, наблюдает за нами. Время от времени она выходит вперед, чтобы поднести воду людям, которые просят пить. Перед тем как войти в пи-

рамиду, я видела, как девочка ползала по земле, собирала какашки ашрамских собак.

Великан открывает глаза, разлепляет тяжелые веки. У него все лицо заросло волосами, но я все-таки понимаю, что он человек, а не зверь. Мама его не боится, и я тоже стараюсь его не бояться. У него на шее три нитки бус — коричневых, розовых и зеленых, — запутанных так, что вовек не распутать. Мне хочется их утащить и носить самой, ведь у меня нет своих бус, но я не решаюсь к нему подойти. Его рот открывается, язык вываливается наружу, я вижу густую, пугающую темноту в глубине его глотки, вижу зубы, тонущие в темноте. Вижу бездонную пустоту.

Я подхожу ближе к маме. Она смотрит на великана и обильно потеет, как все в этой комнате, но ее запах я вмиг отличаю от всех остальных и люблю ее, потому что она мне знакома в каком-то особом глубинном смысле, который я не могу объяснить.

Она привлекает меня к себе и целует прямо в губы. Прижимает меня еще крепче к своему мягкому боку и щекочет мне шею. Ее нежность смущает меня и пугает, потому что за лаской нередко следует что-нибудь неприятное.

Великан прячет язык в рот, набирает слюну

и плюет прямо перед собой. Плевок падает в метре от возвышения, на сидящего в позе лотоса мужчину с соломенными волосами, но тот даже не вздрагивает: он завороженно смотрит на великана и повторяет за ним. Его вялый плевок едва долетает до границы его собственной тени. Я растерянно озираюсь по сторонам. Моя мама и все остальные малые пирамиды тоже плюются. Великан то ли кашляет, то ли смеется — я никак не пойму, что он делает, — все сильнее и сильнее, его огромный колышущийся живот сотрясается от конвульсий, его длинные волосы похожи на щупальца сказочного чудовища. Все собравшиеся повторяют за ним, кашляют и смеются. Я даже слышу, как кто-то рыгает. Женщина рядом со мной громко плачет, но, когда я смотрю на нее, слез почему-то не видно.

В комнате пахнет теплом. Так пахнет мой палец, если поковыряться в пупке.

Женщина, плачущая без слез, пронзительно вскрикивает в паузах между приступами рыданий, и кто-то еще подхватывает ее крик. Я смотрю на маму, ее лицо покраснело от кашля. Я хочу взять ее за руку, но она вырывает ладонь и встает. Я вижу, что великан тоже встает, и все пирамиды превращаются в белые колонны.

Я держусь за край маминой курты, накручивая ткань на пальцы.

Великан поднял руки и трясет ими в воздухе. Они извиваются, точно змеи, и, кажется, вот-вот оторвутся от тела и улетят прочь, словно он сам разрывает себя на части, чтобы отдать свои руки морю бушующей белизны, как уже отдал дыхание и слюну.

Земля дрожит, потому что дрожат их тела — тела всех пирамид, снова принявших человеческие очертания. Они скачут на месте, топают ногами, пляшут и обнимают друг друга. Кто-то легонько стучит меня пальцем по лбу, кто-то сжимает меня в объятиях. Я кричу, зову маму, но ее нигде нет. В панике обернувшись, я вижу ее у себя за спиной. Ее грудь колышется под белой курткой, а потом ее как бы захлестывает волной. Она теряется в море людей и почти исчезает из виду, чьи-то руки тянутся к ней и ласкают, затем отпускают и убираются прочь.

Великан квакает по-лягушачьи, выпучив глаза. Он и вправду похож на огромного белого лягушонка. Кто-то вторит ему, вступая в лягушачий хор, но многие изображают других животных, ползают на четвереньках, блеют, мычат, издают странные звуки, для которых я даже не знаю

названий. Они повсюду вокруг, эти громкие люди-звери: то смыкаются плотным кольцом, то расходятся в стороны. Я сижу на полу. Кажется, обо мне все забыли, но мне в ноздри бьет запах их ног, трущихся о шершавую напольную плитку.

— Мама! — мысленно зову я, наблюдая за ней. Я хочу, чтобы она на меня посмотрела, но она уже где-то не здесь. Это видно по ее лицу. Она всегда надевает такое лицо, когда не видит меня в упор. Я не знаю, когда и где видела его раньше, это пустое лицо, потому что не помню, что было раньше, но оно мне знакомо, и я точно знаю, что его надо бояться.

Мама кружится на месте, вскинув руки над головой. Вокруг нее вьются двое мужчин, загораживают маму от меня, мешают мне наблюдать. Она прекращает кружиться и замирает, легонько покачиваясь. Один из мужчин со смехом сжимает ее в объятиях, не давая упасть, но ее волосы липнут к вспотевшему лбу, а губы подрагивают и кривятся, словно никак не могут поймать пошатнувшееся равновесие. Вокруг пляшут люди, визжат, рыгают, кричат во всю силу легких, срывая голос, заряжают сгустившийся воздух бессмысленным шумом.

Я говорю:

— Мама.

Ее губы уже не дрожат, уголки рта поднимаются вверх, и она улыбается. Только не мне, а кому-то другому. Я смотрю в ту же сторону, куда смотрит она, и мой взгляд натыкается на великана.

Он улыбается маме в ответ, или, может быть, это она отвечает на его улыбку. Этого я уже никогда не узнаю, потому что не видела, кто из них улыбнулся первым. Он стоял на четвереньках, но теперь поднимается на ноги. Длинные волосы падают ему на лицо. У него на губах пузырится слюна и стекает по спутанной бороде.

Я подхожу к маме и шлепаю ее по ноге. Она хмурится и отталкивает меня прочь.

— Не надо так делать, — говорит она.

Я тянусь к ней, но она снова отталкивает меня. Я отступаю и падаю, не устояв на ногах. Ее грудь некрасиво трясется. Я смотрю в пол, не хочу видеть маму такой некрасивой.

— Что ты такая унылая? — кричит она. — Танцуй! Что ты такая унылая?

Между мною и мамой вклиниваются какие-то люди — просто люди в белых одеждах, — норовящие придвинуться ближе к великану на возвышении. Их лица напряжены, челюсти сжаты, на висках бьются жилки. Они опасаются

подходить слишком близко.

Я снова встаю.

Я говорю:

— Мама.

Она не слышит меня сквозь истошные вопли, рыдания и смех.

— Мама, — кричу я во весь голос и вдруг чувствую, как у меня скрутило живот. Еще секунду назад все было нормально, а теперь меня чуть ли не разрывает изнутри.

— Мама! — кричу я опять, но мой голос теряется в общем гаме.

— Мама! Мама! Мама!

Я отчаянно бью крыльями, но она меня не замечает.

— Что случилось, красавица? — Голос шепчет мне прямо в ухо. Мне приходится отстраниться, чтобы увидеть лицо говорящей. Рядом со мной на корточках сидит женщина с выбеленным мелом лицом. Женщина в черных одеждах. Единственное пятно черноты в море белого цвета. — Что случилось?

Я говорю:

— Мама.

— Мама? Что ты хотела сказать своей маме?

Я пытаюсь показать пальцем на маму, но во-

круг слишком много людей.

— Окей, окей. Я тебе помогу. Ты только скажи, что тебе нужно.

Я показываю пальцем на свой живот и снова на маму. У меня в горле бурлят пузырьки, поднявшиеся из глубин живота, но не мягкие мыльные пузыри, а твердые пластмассовые шары. Они забивают мне рот, не дают говорить. Я не могу выдавить из себя ни звука.

Женщина смотрит на мой живот, переводит взгляд мне на лицо. Она поднимает блестящие брови, и густая подводка вокруг ее голубых глаз растягивается, как черная резинка.

— Болит животик? — У нее странный голос, странный ритм речи. Я никогда раньше такого не слышала. Она словно не говорит, а поет.

— Ка-ка, — бормочу я.

— Окей. Я отведу тебя в туалет.

Она берет меня за руку, и мы пробираемся сквозь белизну. У женщины жесткая, шершавая кожа и длинные ногти, которые врезаются мне в ладонь. У самого выхода я на секунду оглядываюсь, но мама уже затерялась в бушующем белом море.

В туалете пусто и тихо. Я опускаюсь на корточки над унитазом, керамической дыркой в полу.

Женщина в черном держит меня под мышки. Мы глядим друг на друга, слушаем, как струйка моей мочи бьется о дно керамической чаши. Когда все дела сделаны, я ей киваю. Она подтягивает мне штанишки, завязывает тесемку на поясе аккуратным бантиком. Я вижу, что у нее серые, неровные ногти, а руки все в бурых пятнышках.

— Малышка-красавица, подождешь меня снаружи?

Я киваю, встаю за дверью и слушаю, что происходит внутри. Струя женщины в черном тугая и плотная, гораздо сильнее и громче моей. Теперь я замечаю, что дверь в туалет — не единственная в коридоре. Здесь еще много дверей, и почти все закрыты. Я шагаю вдоль ряда дверей, прикасаясь к висячим замкам. Они тяжелые, твердые и холодные. Под потолком гудят голые лампочки без абажуров, где-то тихонько играет радио. В конце коридора — балкончик с решетчатым ограждением, выходящий во внутренний двор. В воздухе дрожат капли дождя размером с плодовых мушек.

Я слышу чье-то тяжелое, сбивчивое дыхание, оборачиваюсь и вижу, что одна из дверей приоткрыта. Из-за двери доносится странное, почти звериное пыхтение, звуки радиопередачи и еще

какие-то звуки, для которых я даже не знаю названий. Открытый замок болтается в засовной петле, как отрезанная рука. Я осторожно толкаю дверь, и она открывается шире.

Там внутри, в крошечной комнате — та, другая, девочка. Почти такая же маленькая, как я. Она распластана на столе, лежит, раскинув руки крестом. Мужчина в белом держится за ее ноги, раздвигает их широко-широко. Кажется, я его знаю. Он из белого моря. Пирамида с соломенными волосами. Его штаны спущены ниже колен, он пыхтит и трясется над распростертым девчоночьим телом.

— Малышка? Ты где?

Меня зовет женщина в черном. Я отступаю от двери и бегу к ней. Она стоит у двери в туалет. Видит меня и идет мне навстречу. При ходьбе она переваливается, как утка, подол ее длинного черного платья волочится по полу, взметая пыль.

— Хочешь перекусить?

Она достает из кармана пачку печенья с глюкозой. Я беру угощение, набиваю рот. Печенье впитывает слюну с моего нёба, размокает, становится мягким. Меня тошнит, но я не могу остановиться, все ем и ем. От женщины пахнет чуть влажной тканью, испарения многих дней

въелись в материю ее платья.

Она спрашивает, не хочу ли я прилечь отдохнуть, пока жду маму.

Я отвечаю, что хочу.

Мы ложимся вдвоем на промокший матрас во дворе. Матрас — выцветший, старый, весь в пятнах — почти сливается с коричневатой каменной плиткой, которой вымощен двор. Дождь пока перестал. Из пирамиды доносятся крики, но они далеко-далеко. Это может кричать кто угодно и где угодно. Я отстраняюсь от этих криков, уклоняюсь от них, отношу их к кому-то, кого я не знаю. К кому-то, кто совершенно не связан со мной. Я отдельно, а крики отдельно.

Расстояние между нами растет, звуки уносятся прочь, или, может быть, это я уношусь прочь от звуков, в ушах остается лишь гулкая тишина, и я чувствую, как расслабляется мое лицо. Напряжение уходит из мышц вокруг глаз, воздух становится белым и звонким. Не знаю, где я этому научилась, но у меня хорошо получается, и этот прием я потом буду использовать неоднократно, на протяжении всей жизни.

Женщина в черном спрашивает, видела ли я звезды. Я отвечаю, что видела, и мы вместе смотрим на небо, затянутое серыми тучами. Я хочу

сказать о звездах что-то еще, но не могу вспомнить, как они выглядят, много ли их на небе и складываются ли из них какие-то узнаваемые фигуры. Что делают звезды? Движутся по небосводу или все время стоят на месте? Мерцают или светятся ровно, как горящие лампочки? Я уже начинаю сомневаться, точно ли видела звезды. Возможно, я знаю о них лишь по рассказам кого-то из взрослых: мамы, папы или кого-то еще, кто взялся меня научить представлениям о мире, которых я совершенно не помню, потому что единственная реальность, сохранившаяся с тех времен, состоит из обрывочных ощущений и мыслей, и уже невозможно установить, то ли я создала эти мысли сама, то ли их вложили в меня извне.

— Как тебя зовут? — спрашивает женщина в черном.

Я говорю:

— Антара.

— Очень приятно, Антара. А я — Кали Мата.

Прежде чем стать Кали Матой, она была Евой и жила в частном доме с садовым участком в городке Лейнсборо, штат Пенсильвания, вместе со своим мужем Эндрю, дочерью Милли и матерью Эндрю, Джун. Я знаю их по фотографиям, сохра-

нившимся у Кали Маты. На этих снимках они сидят в профиль или дурачатся, высунув языки. Пока была жива бабушка Джун, у них в семье неукоснительно соблюдалась традиция читать благодарственную молитву каждый раз, когда все садились за стол. Кали Мата рассказывала, что Джун относилась к таким вещам очень серьезно. Не потому, что была сильно набожной, а потому, что считала, что детей надо сызмальства приучать к правильным и достойным привычкам. Ева не слишком прислушивалась к советам бабушки Джун, но, когда старая вешалка отдала богу душу (всего в пятьдесят девять, при всех своих ежедневных молитвах), Ева решила сохранить устоявшуюся традицию. Кончина бабушки Джун стала для нее первым опытом соприкосновения со смертью: вот человек еще дышит и дергается, словно марионетка на ниточках в руках дьявола-кукловода, а уже в следующую секунду лежит на полу бездыханной грудой, раскинув в стороны руки и ноги. Врачи «Скорой помощи» говорили о разрыве сосудов — вроде мины замедленного действия, — но Ева им не поверила. Бабушка Джун отошла в мир иной без всяких взрывов и фейерверков; ее смерть была тихой, внезапной и поэтому особенно беспощадной.

Ева не видела, как умирали ее собственные родители, и хотя она недолюбливала бабушку Джун, вечно лезущую с наставлениями и советами, смерть свекрови ее потрясла. Эндрю так и не смог объяснить жене, что значит смерть, в то время как Милли, еще совсем кроха, поняла с первого раза. Она взяла отца за руку и сказала, что ей все понятно и она очень надеется, что с ним все будет в порядке. Но Ева, взрослая женщина, которой было уже хорошо за тридцать, на протяжении многих недель просто сидела и тупо таращилась в стену. «Они были очень близки, — шептались соседи. — Действительно очень близки. Джун была ей вместо матери». Ева не пыталась их разубеждать, не пыталась рассказывать обо всех тех разах, когда она мысленно желала смерти свекрови, но для себя была вынуждена признать, что смерть, когда встречаешься с нею лицом к лицу, действительно означает конец всему.

Ева решительно объявила, что ежедневные застольные молитвы должны продолжаться, как было при бабушке. Эндрю не возражал, даже наоборот. Но, когда муж и дочь, склонив головы, благодарили Всевышнего за хлеб насущный, Ева вела собственные, строго конфиденциальные переговоры с Господом Богом. Если Господь в

своих неисповедимых путях сочтет нужным лишить ее пропитания и крыши над головой, она как-нибудь выживет. Но, если Он ее слышит и если все воскресенья, проведенные в пыльном амбаре за изучением Святого Писания, хоть чего-нибудь стоят, она просит лишь об одной милости, настолько малой, на самом деле, что Ему уж никак не составит труда выполнить ее просьбу. А просьба такая: пусть Господь заберет ее первой. Пусть она умрет раньше, чем кто-то из тех, кто сидит с ней за этим столом. Потому что она все равно не сумеет жить дальше, если ей придется похоронить кого-то из этих двоих, самых близких и дорогих ей людей. Нет уж, пусть эти поминки справляются без нее. И, если Господь Всемогущий снизойдет до ее малой просьбы, она, со своей стороны, позаботится, чтобы в ее доме каждый день возносились благодарственные молитвы. Ева честно держала слово и добросовестно выполняла свою часть договора, но Господь Бог оказался не столь надежным партнером, и, когда ей сообщили об автоаварии, она безутешно рыдала пять дней напролет. А на шестой день собрала вещи и уехала из города. Она говорила всерьез, не бросалась словами: никаких моргов, никаких опознаний, никаких

похорон. Она помнит мужа и дочку живыми и не станет смотреть на них мертвых. Сначала Ева жила у сестры в Филадельфии, где устроилась продавщицей в большом магазине для новобрачных и познакомилась с человеком, называвшим себя Говиндой. Он был статным красавцем со светло-каштановыми волосами, носил очки в тонкой оправе, излучал меланхолию — что роднило их с Евой, — и приторговывал марихуаной, чем, собственно, и зарабатывал себе на жизнь. Он привел Еву в миссию кришнаитов, где они пели песни, потом пригласил ее к себе домой, где сообщил, что он копит деньги, чтобы поехать в Индию, в храм Брахмы в Пушкаре, и вырваться из замкнутого круга страданий. Он предложил ей поехать с ним.

В Пушкаре она начала одеваться в длинные черные платья из плотных, украшенных вышивкой тканей. Под гнетом тяжелых нарядов ее поступь сделалась медленной и степенной. Она всегда была светленькой, белолицей, с россыпью ярко-рыжих веснушек на плечах и руках, но за год жизни в пустыне ее гладкая бледная кожа потемнела и сморщилась. Ее волосы, тогда еще не особенно длинные, спутались в дреды. Тени над вечно сощуренными глазами лежали на веках,

как бирюзовая пыль, набивались в морщинки, создавали узоры из тонких трещинок. Она подводила глаза черной сурьмой — и сверху, и снизу — жирными, яркими линиями. Ее губы были похожи на темный изюм. Украшений она не носила, но вплетала в волосы всякие штуки, собранные по пути: птичьи перья и всевозможные блестящие безделушки, подвешенные на нитках.

Они с Говиндой бродили по пустыне, обреталась на окраинах деревень и исподволь забывали свою прежнюю жизнь.

Никто не знал, откуда она появилась. Некоторые утверждали, что годы над нею не властны и что она медитирует в пустыне Тар с незапамятных времен. Деревенские жители кланялись ей с почтением, кто-то даже прикасался к ее ногам; дети называли ее госпожой верблюдицей, потому что она могла долго прожить без воды.

Именно там, в пустыне, она повстречала великана в белых одеждах, и он пригласил ее присоединиться к нему в его странствиях. Никто в ашраме не знал, почему она носит черное. Когда они встретились с великаном, она уже была такой, и притом вполне цельной, завершенной и совершенной в своем нынешнем виде. Возможно, она все еще носила траур, а для нее траур

всегда был и будет черного цвета. Она прожила в ашраме в Пуне больше десяти лет, а потом в зал медитаций нерешительно заглянула молодая беременная женщина, бледная и растерянная. Кали Мата уже давно не делила постель с великаном, но считала себя матерью его детей и наставницей всех его многочисленных учеников.

Она пригласила новую ученицу присесть, но мама покачала головой. Ее взгляд судорожно метался по комнате. Она не была уверена, что хочет остаться. Но, когда в зал вошел великан, мама рванулась вперед и уселась у его ног. Она провела в медитации больше четырех часов, неподвижная, как изваяние. Очнувшись, мама открыла глаза, подняла взгляд на гуру и сказала, что посвятит ему всю свою жизнь. И расплакалась, положив голову ему на колени.

Я была совсем маленькой, вряд ли старше трех лет, когда Кали Мата впервые рассказала мне об Америке и об ашраме, где я жила. Она говорила, что мы по-прежнему в городе, в Пуне, но я смотрела вокруг и не верила. Ашрам был совсем не похож на остальную Пуну.

Именно от нее, Кали Маты, я узнала, что великана зовут Баба, что у него есть еще много других имен, самых разных, но мы должны называть

его Бабой. Он — наш отец, наш учитель и бог. И в то же время — смиренный слуга, потому что по собственной воле и уже не впервые принял человеческий облик, дабы вывести нас из невежества. Он происходит из славного рода великих наставников, в котором были и гуру, и ачарьи, и даже несколько мудрецов, упомянутых в древних священных текстах. Все это подробно описано в его автобиографии.

Баба ездил на «Мерседесе-Бенц» и собирал видеокассеты с фильмами Брижит Бардо. Он был выше восьми футов ростом, что по нынешним временам представляется не такой уж и выдающейся величиной. Его голос всегда звучал тихо и ласково, даже сквозь микрофон и динамики, которыми он пользовался, когда обращался к многотысячным толпам. Его учение так или иначе отзывалось в каждой душе: грамотная компиляция из доктрин Будды, Христа, Кришны и Зорбы. Баба любил науку и интересовался компьютерами. Болел за индийскую сборную в международных крикетных турнирах и уважал японскую еду. Каждый, кто его знал, находил в нем что-то знакомое, близкое и понятное для себя.

В ранней юности, еще подростком, мама вос-

хищалась ашрамом со стороны — восхищалась свободой, доступной его обитателям, — но сама пришла в ашрам лишь годы спустя, когда стало понятно, что в доме мужа нет ничего, кроме скуки и неизбывного одиночества. Мама просто хотела сбежать от унылых будней.

В ашрамских рекламных брошюрах описана вся история поселения, начиная с самых первых дней, когда его обитатели, ищущие просветления, жили в фанерных времянках, крытых жестяными листами, и почти без света. Ашрам вырос вокруг ствола старого двадцатиметрового баньяна, разросшегося во все стороны, в гирляндах воздушных корней, тянущихся к земле. Санньясины посадили лимонные и манговые деревья, зная, что придет день и эти саженцы дадут плоды. Со временем было получено разрешение провести электричество и водопровод. Изучалась возможность вырыть колодец. На территории установили септики. Развернулось строительство. Затвердели бетонные фундаменты. Выросли стены. Над ними поднялись стропила.

Постепенно ашрам обретал новый облик и новый статус. Сегодня это святилище, школа духовного роста, со всеми удобствами. Учитель умер, но его дело живет. И живет очень даже

неплохо. Теперь в каждой комнате есть современный плоский телевизор. Всем желающим предлагается парный массаж и сеансы гаданий на картах таро. При поступлении требуется предъявить справку об отсутствии СПИДа.

Я прожила в ашраме четыре года, но мало что помню из этих лет. У меня над кроватью висела ветхая москитная сетка. В моей комнате, где я жила с Кали Матой. У Кали Маты была палетка с тенями для век, похожая на набор сухих красок, и она разрешала мне брать эти краски и разрисовывать себе лицо. Моим любимым местом в ашраме всегда была кухня, где сверкала посуда — сотни блестящих стальных тарелок и стеклянных стаканов, выставленных на просушку, — и где Кали Мата учила меня чистить яблоки острым ножом. Там же, в кухне, я видела маму, когда она что-то готовила для Бабы. Помню, как я стояла под дверью и долго водила дрожащей рукой по резным птицам и змеям, прежде чем постучаться в заповедную комнату, которую Баба делил с моей мамой.

Еще я помню тот день, когда мой дедушка, мамин папа, приехал в ашрам и сказал маме, что он не потерпит, чтобы его дочь и внучка оставались в этом рассаднике непотребства, среди инозем-

цев и шлюх. Дедушка сказал, что мама опозорила всю семью и ей надо сию же секунду вернуться в дом мужа. Мама ответила, что ее дом теперь здесь. И мой дом тоже здесь: Баба будет моим отцом, а санньясины — моей семьей.

Что касается девочки с вечной тряпкой в руках, ее звали Зита. Она мыла полы в зале для медитаций, поливала цветы и все время молчала. Я ни разу не слышала, чтобы она произнесла хоть слово. После обеда она подолгу лежала на латаной-перелатаной соломенной циновке, прикрывая лицо локтями. Ее глаза сверкали сквозь щелку между неплотно прижатыми друг к другу руками. Я пыталась узнать, что с ней стало дальше, но никто ее даже не вспомнил. Словно ее и не было вовсе.

У меня до сих пор сохранилось несколько фотографий Бабы. Он любил фотографироваться и всегда держал при себе человека с камерой.

— Фотографии, — говорил Баба, — не запечатлевают историю. Они определяют историю. Если нет твоих снимков, значит, тебя как бы не существовало.

На нескольких снимках мама позирует рядом с ним. Есть одна фотография, где она в сари. Это было в тот день, когда они с Бабой сочетались

символическим браком и мама впервые надела сари с тех пор, как сбежала из дома мужа.

Ослепительно-белый хлопок с виду кажется грубым и жестким: две разрезанные простыни, сшитые вместе. Под сари нет нижней юбки. Вокруг талии повязан пояс из тонкой коричневой ленты. На одном конце пояса — пластиковый наконечник, как на шнурке для ботинок. Складки заложены тщательно и аккуратно, но их всего три, причем узкие, вдвое у́же положенного. Всей маминой ткани хватило только на эти несчастные складочки. Наверное, сари стесняло движения и маме пришлось ходить маленькими шажками. На снимке она сидит на джутовой циновке рядом с Бабой, но чуть позади. Мамины волосы перекинуты через голое плечо. Короткий паллу, свободный конец сари, покрывает ей голову. Мама придерживает край ткани. Должно быть, солнце в тот день было ярким: мама изо всех сил старается не щуриться на свету.

У меня есть фотографии Бабы на открытках и брелоках для ключей, купленных в ашрамской сувенирной лавке, и копия его газетного некролога, которую мне распечатали с микрофильма.

В некрологе написано, что смерть предположительно наступила от передозировки нарко-

тическими веществами, хотя его приверженцы убеждены, что его отравили по наущению местных властей. Он скончался в возрасте пятидесяти семи лет и, вероятно, страдал гигантизмом, чем объясняется его примечательный рост. У него не осталось ни вдовы, ни официально признанных детей.

* * *

Каждый раз в полнолуние мама зажигает сандаловые благовония по всей квартире, наглухо закрыв окна. Потому что так ей посоветовала Кали Мата: чтобы прогонять комаров и злых духов. Нам пришлось прекратить эту практику на год, когда врач сказал, что от сандаловых испарений у меня развивается астма. Мама убеждена, что именно в этом году все пошло наперекосяк.

Сегодня как раз полнолуние, вся квартира в густом дыму. Кашта справляет ежемесячный ритуал, а я наблюдаю за причудливым переплетением завитков дыма, пытаюсь разглядеть фигуры и лица. Бабушка сидит в кресле, окруженная мутной дымкой. Я тихонечко кашляю. Непонятно, уснула она или нет. Рядом с ней — мама, какая-то оцепеневшая и заторможенная. Сегодня она вообще не отличается бодростью.

Я стою у окна. В небе белеет луна, и я представляю, как волны приливов бьются о берега, залитые лунным светом. В газете, лежащей на столике рядом со стопкой журналов и невскрытых писем, написано, что такое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем, называется суперлунием. Я смотрю на луну сквозь оконное стекло. Она ярко сверкает, но темные пятна на белой поверхности напоминают следы от побоев. Я вынимаю из газеты страницу со статьей, беру карандаш и рисую луну поверх текста, размещая на ней, как на карте, эти отметины непостижимого изуверства.

В статье говорится, что в суперлуние Луна кажется больше обычного и что в последний раз она подходила так близко к Земле в 1948 году.

— Бабушка, — говорю я, и она моргает, обернувшись ко мне. — В последний раз Луна была так близко к Земле в тысяча девятьсот сорок восьмом.

Бабушка улыбается и чешет нос.

Я добавляю:

— В год твоего рождения.

— Да. Я помню тот год.

У бабушки нет свидетельства о рождении, потому что многие дети в лагере для беженцев

умирали еще до мунданы, до первой стрижки. Когда дедушка, бабушкин муж, получал ее паспорт, он выдумал дату рождения. Но когда бабушка рассказывает историю своей жизни, она начинает с самого начала: повитухи кричат на языке мултани, обтирают ее крошечное новорожденное тельце грязной тряпкой. Она голодная и вопит что есть мочи, лихорадочно ищет ртом мамину грудь. Она родилась такой бледненькой и анемичной, что ей дали имя Гаури, светлая.

Я спрашиваю, как она может помнить год своего рождения, если у всех остальных остаются лишь смутные, обрывочные воспоминания о раннем детстве, да и то начиная лет с трех-четырех.

Бабушка фыркает и говорит, что мне этого не понять, потому что меня там не было. Разделение Индии — совершенно особое время. Многое происходило впервые и никогда больше не повторится.

Ее взгляд сдвигается и упирается в стену у меня над головой. Я тянусь за ноутбуком, открываю страницы с описанием строения амилоидной бляшки: половинки застежки-липучки, потерявшей свою соответствующую пару. На рисунках показано, как между нейронами мозга копятся бляшки, спутанные клубки нитей бета-амилоида,

которых там быть не должно.

Именно эту картину обнаружил Алоис Альцгеймер, когда изучал срезы мозга своей пациентки Августы Детер, умершей в 1906 году. У бедняжки Августы были очень серьезные проблемы с головой.

Ученые не знают, чем обусловлено образование амилоидных бляшек и почему происходит сбой в делении белковых клеток. То же самое я читала о раковых клетках, но никому об этом не говорю, потому что боюсь показаться неосторожной в обращении со словами.

Может быть, амилоидная бляшка — это только симптом. Но тогда что причина? Возможно, длина теломер, расположенных на кончиках хромосом, как рукоятки на прыгалках. Они укорачиваются со временем, что является признаком биологического старения.

Или это тоже симптом?

Похоже, старению подвержен не каждый. Как и снижению когнитивных способностей.

Интересно, есть ли люди, которые не стареют? Есть ли среди нас бессмертные?

Бабушка вроде бы в добром здравии. И даже как будто стала бодрее, чем раньше, когда был жив ее муж. Но можно ли утверждать, что она

не стареет? Нет. Она совсем старая. У нее тугоподвижность суставов, тугоподвижность ума.

Я рисую две оси, X и Y, одна будет возраст, другая — снижение интеллектуальных способностей. Располагаю в системе координат маму и бабушку. Между ними как раз помещается небольшое семейство криля.

Я всегда думала, что Кали Мата стоит за пределами этой системы. Я представляла ее асимптотой, стремящейся в бесконечность, пока ее не настигла внезапная смерть.

Сколько криля должно умереть, чтобы поддержать мамину память? В верхнем углу той же страницы я рисую луну, начав с плоского круга.

— У тебя месячные.

Я отрываюсь от своих рисунков. Я превратила луну в омлет с перцем. Мама выключает свет в ванной и садится на диван. Дым оседает на пол. Бабушка дремлет, склонив голову на плечо.

Я говорю:

— Да. Откуда ты знаешь?

— От тебя пахнет. Пахнет ананасом.

От меня никогда раньше не пахло, по крайней мере, чем-то настолько конкретным. Дилип никогда ни о чем таком не говорил. Интересно, а он вообще знает, как пахнет ананас? Однажды у него

была аллергия на киви, и его губы покрылись мелкими язвочками.

Еще пару секунд я смотрю на луну. Когда Дилип придет домой, я его попрошу посмотреть на луну вместе со мной.

Мама зевает.

— Когда начались? Сегодня?

Мне нужно время, чтобы сообразить.

— Да. Сегодня утром.

Мама кивает, откинувшись на подушки.

— Как всегда, в полнолуние. Кали Мата, в такие дни от тебя всегда пахнет ананасом.

Луна сдвинулась на небосклоне и теперь прячется за высотными зданиями вдалеке. Я начинаю новый портрет лунной поверхности, на этот раз по памяти.

— Что это?

Я поднимаю глаза. Бабушка держит в руке смятый клочок бумаги.

— Я пишу маме записки и прячу их по квартире. Чтобы она их читала, когда находит. Может быть, это поможет ей что-нибудь вспомнить.

Бабушка улыбается.

— Ты хорошая девочка. Прочти мне, что тут написано.

Я нерешительно мнусь, разглаживая листок на

ладони. Буквально за несколько недель он стал похож на древний пергамент.

— «Помнишь, как ты добавила перца чили Антаре в кичри?» — читаю я вслух.

Бабушка смеется и кашляет.

— Когда это было?

— Когда она приучала меня к острой пище. Я жутко икала, но она все равно продолжала сыпать мне перец.

Бабушка качает головой.

— Мама не клала чили тебе в кичри. Это я положила имбирь. Ты тогда сильно простыла.

— Нет, это точно был чили.

Я уверена, что помню, как это было. Помню вкус боли во рту.

— Да нет же, — хмурится бабушка. — Не веришь мне, спроси у мамы. Она тебе скажет.

Я уже читала эту записку маме. Тогда она ничего не сказала, лишь посмотрела на меня совершенно пустыми глазами, и я запихала записку в диван, чтобы мама нашла ее снова.

— Какой смысл спрашивать? — говорю я бабушке. — Она все равно ничего не помнит.

— Может быть, она не помнит, потому что этого не было?

Я чувствую, как напрягаются мышцы в ногах.

Она говорила с Дилипом? Или, может быть, мама ее убедила, что я вечно вру?

Листок улетает с моей ладони, словно его сдуло ветром. Но откуда бы взяться ветру, если окна закрыты. Под потолком шелестит вентилятор; описав полный круг, замирает на долю секунды и кружится дальше. Я наклоняюсь поднять бумажку — она ускользает, как белое расплющенное привидение. Бабушка смеется, но смех получается хриплым, скрипучим, словно радость и кашель слились воедино, стирая границы между весельем и дискомфортом. Мы наблюдаем, как листок исчезает под диваном.

Я достаю из кармана ключ, отдаю его бабушке.

— Что это?

— Ключ от маминой банковской ячейки.

Бабушка надевает очки и разглядывает брелок. Это рыжий кот Гарфилд, обшарпанный и поблекший. Она глядит на меня, выгнув бровь.

— На всякий случай, — говорю я. — Лучше заранее подготовиться ко всему.

* * *

Мы с мамой заходим в процедурный кабинет. Новый врач улыбается. Тот, который был в прошлый раз, сейчас в отпуске.

Мама ежится в халате. Жалуется, что халат отчетливо пахнет потом какой-то другой женщины. На столе у врача — инструменты в высоком стальном стакане. Гладкий отоларингологический шпатель, пинцет с загнутыми концами. Я не знаю, как называются остальные. В руках врача они кажутся острыми и недобрыми. В кабинете чисто, но ощущение, что грязно. Я поглядываю то на маму, то на потолок. На лампу, горящую белым светом. На гудящий кондиционер.

— Были еще какие-нибудь проявления? — спрашивает врач.

— Да, — отвечаю я. — Ей снятся кошмары. Домработница говорит, что она пришла утром и мама сидела, забившись в угол, сильно напуганная.

Его лицо остается бесстрастным. Он что-то пишет в маминой карте. У него типичный врачебный почерк, нечитаемый совершенно.

— У меня ощущение, — говорю я, — что все происходит как-то уж слишком быстро. Кажется, ей стало хуже.

— Для ее состояния все идет в рамках нормы, — говорит он. Волосы у него на лице растут пятнами: где-то черные, где-то седые. Два передних зуба кривые, и он немного присвистывает при разговоре.

Я говорю:

— Она принимает лекарство.

— Я наблюдал случаи, особенно с ранним началом, когда деградация происходит в разы быстрее.

— И у мамы как раз такой случай?

— Пока нельзя утверждать наверняка.

— Так что вы пытаетесь мне сказать?

— У нас пока мало данных, а результаты очень неоднозначны.

Я открываю блокнот и начинаю зачитывать список:

— Я показывала ей фотографии и старые видеозаписи. Мы смотрели ее любимые фильмы. Я водила ее на прогулки по ее прежним любимым местам. Мы вместе готовили разные блюда, особенно те, которые она не готовила уже давно.

Я кладу на стол папку и вынимаю распечатанные листы, где выделила абзацы желтым, зеленым или оранжевым маркером. Это цитрусовое разноцветье режет глаз, если долго смотреть. Врач тихонько откашливается и сдвигает очки на лоб.

— У меня подозрение, что у мамы подтекает чердак. — Я указываю на абзац, подтверждающий этот тезис.

— Подтекает чердак, — повторяет за мной врач.

— Да, причем уже отовсюду.

Отодвинув в сторонку закрашенную статью из научного журнала, я открываю брошюрку моей собственной ручной работы и предъявляю врачу свой *magnum opus*. Здесь схема физиологических функций маминого организма и история ее жизни начиная с рождения, где я указала, что бабушке не делали кесарево сечение, а значит, первую необходимую прививку микробами мама должна была получить еще в вагинальном канале собственной матери. На той же странице я перечисляю все вероятные мамины прививки и приемы антибиотиков в детстве.

Следующая страница посвящена повреждениям, нанесенным ее митохондриям, нестареющим центрам клеток, которые она унаследовала от матери, а позже передала мне. Слово «митохондрия» располагается в центре брюшка гигантского паука, чьи лапы сплетаются друг с другом и растекаются паутиной сбившихся циклов Кребса. Паутина образуется из укороченных теломер, снижающих выработку энзимов, что, в свою очередь, ускоряет процесс ослабления митохондрий. По внешнему краю развешаны крошечные

птичьи клетки, переполненные активными формами кислорода, их количество возрастает экспоненциально, в опасных пропорциях, и в какой-то момент липидный бислой — мембрана, держащая всю конструкцию и не дающая ей распадаться, — не выдерживает и лопается.

На соседней странице представлен мамин желудочно-кишечный тракт: извилистый коридор с дырявыми стенами. Эти дыры пробиты за годы небрежного питания и бездумного приема лекарств. Тела мертвых солдат свалены в кучу, погребальные костры уже ждут.

— Что это? — спрашивает врач.

Я смотрю на страницу.

— Результаты моих изысканий. Я ищу информацию.

— Вы серьезно?

Я не решаюсь поднять глаза. Мне вдруг хочется смять эти страницы.

— Пожалуйста, уберите все это подальше, — говорит он. — Возможно, стоит попробовать новое экспериментальное лекарство.

Он перечисляет побочные действия. Тахикардия. Сердечные приступы. Депрессия.

Я говорю, что нам надо подумать. Мне хочется провалиться сквозь землю.

— Да, непременно подумайте. А лично вам я бы рекомендовал прибегнуть к помощи профессионалов.

Я молчу, жду продолжения. Он глядит на меня, склонив голову набок.

— Вам стоило бы пообщаться с психологами, — говорит он. — Они вам подскажут, как лучше справляться в сложившейся ситуации. Человек, ухаживающий за больным родственником, подчас страдает не меньше самого пациента. Это большой стресс.

На обратном пути из клиники мы проезжаем мимо толпы прихожан, спешащих на мессу в маленькой церкви, зажатой между молочной лавкой и немецкой пекарней. Я молчу, мама тоже молчит. Мы сидим, смотрим в окно. Церковь украшена к Рождеству, гирлянды сияют, как звезды из детского стихотворения. Очередь из желающих зажечь свечу в полночь перекрыла движение на узкой улочке, гудки клаксонов и сердитые крики водителей заглушают церковные гимны, слышные даже снаружи.

На другой стороне улицы, но чуть подальше, стоит мечеть, и пять раз в день муэдзин созывает мусульман на молитву. Рождество — не исключение. Хотя это чисто христианский праздник, в

Пуне его справляют не только христиане: существует поверье, что статуя Девы Марии у входа в церковь дарует верующим удачу. Миниатюрная фигурка, одетая в розовую кисею, давно стала предметом неофициального паломничества. Когда мы проезжаем мимо, я машинально произношу мысленную молитву обо всем сразу и ни о чем в частности.

Хранители мечети прекрасно знают, что в Рождество многие мусульмане ждут своей очереди получить благословение от Девы Марии и ее сына, и вечером двадцать пятого декабря азан провозглашается через репродуктор с особым напором, как напоминание, что долг правоверных превыше всего и его не затмит блеск огней на рождественской елке в тропическом городе.

Я украдкой смотрю на маму. Такси тормозит, и она закрывает глаза. Почему мы с ней обе такие упертые?

— Может быть, погостишь у нас пару дней, мам? — шепчу я, втайне надеясь, что она не услышит. — Может, на следующей неделе? После Нового года?

Она открывает глаза, смотрит куда-то мимо меня, в толпу на тротуаре.

— Может быть, — отвечает она. — Но недолго.

Один-два дня.

После полуночи дата меняется, но и в мечети, и в церкви все так же шумно. По улицам громыхают запряженные волами тележки. Голоса диссонируют друг с другом. Крики неотличимы от молитв. Город погружается в хаос. Шум и гам нарастают, и никто, кажется, не замечает, что святой праздник закончен и настал новый день — день очищения после обильного пира, день тихих раздумий о вчерашних излишествах.

В ту ночь мне не спится. Провода, выползающие из-под тумбочки у кровати, лежат темным клубком у стены. Лампа под потолком — глаз, следящий за мной.

Следующим утром в городе вновь относительно тихо, праздничные гирлянды на церкви уже не горят. Надо беречь электричество. Поток уличного движения — автомобилей, людей и животных — возвращается в нормальное русло.

В день подарков у Дилипа запланирована важная телеконференция, и я иду развлекаться одна. Плотная черная крыша кабинки моего моторикши низко опускается и закрывает меня от солнца, от назойливых взглядов мужчин и прочих бед, которые только и ждут своего часа. Но все, к чему прикасается свет, открыто и взглядам мужчин,

и, хотя я не вижу, как они на меня смотрят, я чувствую солнечные лучи, что проникают сквозь ватные облака и согревают мне кожу. Вот что доступно для солнца и взглядов: мои ноги, обутые в чаппалы, все мое туловище, мои голые руки. Безголовая девушка в транспортном средстве с крышей, но без дверей.

Иногда кто-то пытается заглянуть под козырек, разглядеть, кто там внутри, но мы движемся быстро, я не различаю их лиц. Они все одинаковые, эти лица, все принадлежат одному и тому же телу, одной и той же дороге.

Мы едем по шумной торговой улице, мимо книжных магазинов и ювелирных лавок. Мужские и женские голоса сливаются в гулкий шумовой фон. Похоже, здесь многое изменилось, но мы едем так быстро, что я просто не успеваю отследить изменения. Сквозь сухую, соленую мембрану в ноздрях пробивается запах пекарни «Каяни». Моторикша резко тормозит перед светофором. Из выхлопной трубы валит дым. Двое мужчин стоят у облезлых ворот перед зданием старой телефонной станции и курят биди, одну на двоих. Прямо над ними сверкают на солнце осколки битого стекла, вмурованные в бетонные плиты по верху всего ограждения. Я чихаю, и

водитель оборачивается ко мне. В уголках его губ собралась оранжевая слюна. Он сплевывает на землю и сморкается, зажав пальцем одну ноздрю.

На остановке пассажиры штурмуют автобус, несколько человек цепляются к нему сзади, прижимаются к красному металлическому корпусу. На углу безногий мальчик продает вчерашние газеты, блохастый пес катается по земле.

Студенты сидят на мопедах по трое, кричат и машут друзьям, оставшимся на тротуаре в облаках пыли. Девушки улыбаются, в ушах у каждой — по несколько сережек. Моя мама когда-то была такой же, как эти девушки: в однотонных одеждах, с головы до пят. С длинными распущенными волосами, что развеваются на ветру, как живые. На девушек обращают внимание, на их наряды, на их руки и ноги, на их открытые рты. Я вижу, как на них смотрят. День ощущается теплым и ясным.

Сегодня мы с моей подругой Пурви обедаем в клубе. После полудня здесь полный аншлаг, отовсюду звучат разговоры, и можно подслушивать вволю. Мы нарезаем круги по прогулочной дорожке, и Пурви рассказывает о ночном клубе, куда ходила вчера. Одним ухом я слушаю

ее рассказ, другим — разговор двух мужчин, обсуждающих преимущества насильственной стерилизации, и параллельно пытаюсь разобрать слова песни, которую поют на лужайке какие-то девочки подросткового возраста.

Дорожка проложена неровным кругом и на определенном отрезке подходит почти вплотную к забору. От людного перекрестка нас отделяют лишь ряд кустов и чугунные прутья решетки. Я слышу визг автомобильных покрышек и непрестанные гудки клаксонов. Машины съезжаются к перекрестку со всех сторон, никто из водителей не желает уступать дорогу, все пытаются вклиниться в любой зазор, лишь бы проехать первыми. Все возбужденные, злые, все орут друг на друга, сыплют проклятиями и оскорблениями с упоминанием матерей и сестер, причем и троюродных тоже.

Какофония нарастает, как бы воспламеняясь от паров бензина. Мы с Пурви стоим, наблюдаем поверх кустов. Я чувствую запах жженой резины. Шум распирает пространство и прорывается оглушительным грохотом. Мелькает чья-то рука, и еще несколько рук. Кого-то хватают за горло, кого-то толкают в плечо, пыль стоит столбом. Клубок тел такой плотный, что непонятно, кто

кого бьет. Кто-то падает и не может подняться, придавленный грузом ярости и оскорбительной ругани. Жаркое солнце лупит по головам всех без разбора. Какой-то мужчина на миг замирает и смотрит прямо на нас. Смотрит хмуро, сердито. Тень от деревьев колышется над дорожкой. Я гляжу на свои руки, вцепившиеся в прутья решетки. Я отпускаю решетку, и мы идем дальше, но драка у нас за спиной продолжается. Сердитый мужчина уже позабыл о случайных зрителях.

Пурви не умолкает ни на секунду. Она говорит с большим воодушевлением, что-то изображает руками в воздухе или потирает ладони, словно пытаясь стереть нежелательные слова. Она объясняет, что это известная практика йоги: когда потираешь ладонь о ладонь или стопу о стопу, ты как бы соединяешь левое и правое полушария мозга. В юности Пурви была настоящей девчонкой-пацанкой, ненавидела длинные волосы и старалась скрывать свои женские формы. Сейчас она постоянно делает маникюр и ходит с длиннющими острыми ногтями. Она вышла замуж очень рано и по очень хорошему расчету. Они с мужем ездят в круизы, снимают виллы для отдыха и посещают горнолыжные курорты. Они покупают и продают лошадей, чуть ли не ежедневно меняют

наряды и никогда не выключают в квартире кондиционер. Иногда, когда мы общаемся наедине, как сегодня, Пурви берет меня за руку и начинает раскачивать наши сплетенные руки, как мальчишка, отрабатывающий удары бейсбольной битой. Она прикасается ко мне на ходу, задевает меня то локтем, то запястьем, периодически забегает вперед и загораживает мне дорогу. Год назад здесь же, в клубе, она удовлетворила меня рукой в туалетной кабинке, пока наши мужья брали выпивку в баре. Мы с ней никогда об этом не говорили.

— Это мой папа с его новой женой, — говорю я Пурви, когда мы садимся за столик.

Они оба в приподнятом, праздничном настроении. Папина новая жена сидит, откинувшись на спинку белого плетеного кресла, папа — прямо напротив нее — наклонился вперед. Они не притрагиваются друг к другу, но постоянно друг на друга смотрят. Она кивает на каждую его реплику, а потом вдруг улыбается. Я ни разу не видела, чтобы она так улыбалась. Ее плечи трясутся, смех рвется наружу. Этот смех накрывает меня, как волна. Пурви мельком смотрит в их сторону и опять углубляется в чтение меню, но я продолжаю вести наблюдение. Они выбрали

столик, залитый солнцем. Нас разделяет лишь несколько метров, но их мир, омываемый светом, кажется совершенно нездешним. Я как будто смотрю на картину в обрамлении белых колонн, на застывшую сценку почти викторианских времен. Вот оно, прошлое, а вот настоящее, и разрыв между ними непреодолим. Они меня видят? Они должны меня видеть. Я здесь, совсем рядом. Они часто смотрят в ту сторону, где сижу я, но, может быть, их слепит солнце. Кажется, я человек-невидимка.

Официанты ходят туда-сюда. Я моргаю и отвожу взгляд.

Давным-давно папа был влюблен в маму. По крайней мере, она ему нравилась чисто внешне. Может быть, он поэтому и соглашается иногда видеться со мной. Потому что я очень похожа на девушку, которая ему нравилась в прошлой жизни: я сижу у него в гостиной, растерянная и смущенная, и гляжу на него умоляющим взглядом — глазами той девушки, что когда-то задела его самолюбие.

Мне вдруг хочется посмотреть, как теперь выглядят верхние комнаты в доме, где папа прожил со своей новой женой уже больше двадцати лет. Если я попрошу, мне, наверное, не откажут, и

проведут по всем комнатам, и покажут, где что изменилось с тех пор, как я была там ребенком: вот новый шкафчик, вот новая раковина, вот новая напольная плитка? Может быть, я действительно попрошу, чтобы мне показали второй этаж, когда в следующий раз соберусь с силами вытерпеть унижение, связанное с визитами в их дом. Папиной новой жене наверняка и самой будет приятно показать мне, как они живут. Или, может, их сын проведет для меня небольшую экскурсию, ведь я все-таки его старшая сестра. Возможно, в моем унижении папа узрит унижение моей мамы и почувствует себя отомщенным за ту обиду, которую она нанесла ему давным-давно. Или, может, он видит во мне себя, точно так же, как видит себя в своей новой жене. Возможно, отец сам покажет мне дом: комнату, которую обустроил для своего ребенка, и спальню, которую делит с супругой. Спальню, где стоит мебель, унаследованная от родителей, и кровать, на которой, как на батуте, скакал его сын, когда был совсем маленьким. Кровать, где папа теперь занимается сексом с новой женой и, может быть, до сих пор представляет на ее месте другую женщину, мою маму. Возможно, мы тоже займемся сексом на этой кровати — я и этот мужчина, который так любит смотреть на

себя, — тихо-тихо, чтобы никто не услышал, пока его нынешняя жена готовит чай этажом ниже.

У меня громко урчит в животе.

Пурви спрашивает:

— Ты голодная?

Я качаю головой. Это моя извечная проблема: живот урчит не ко времени и не к месту. В тишине на экзаменах, на обедах, когда за столом возникает молчание, в кинотеатрах во время важных сюжетных пауз, создающих эффект напряженного ожидания, — как будто живот говорит за меня, стремясь высказать все, что я не решаюсь сказать сама, когда я, может быть, и голодна, но это голод иного рода.

Я смотрю на вход в ресторан, все еще украшенный по случаю клубного юбилея. Воздушные шарики, прежде парившие под потолком, теперь понуро свисают с креплений унылыми гроздьями.

После ужина мы ложимся смотреть телевизор, и Дилип не уменьшает звук, когда я заговариваю о детях. Его взгляд прикован к экрану, где ведущий программы беседует с гостями. Они обсуждают, имеют ли право неиндийские производители использовать изображение Махатмы Ганди для коммерческих целей.

Я не уверена, что Дилип меня слышал. Мне бы хотелось, чтобы на стенах висели картины. Какие-нибудь интересные принты. Скучно все время смотреть на сплошные голые белые стены. Но Дилип считает, что пустое пространство помогает очистить мозг.

— Как же меня запарила эта Индия, — говорит он.

Я смотрю на экран:

— Ну, так переключи на что-нибудь другое.

— Нет, я имею в виду вообще. Здесь все меня бесит. — Он оборачивается ко мне: — Кроме тебя.

— А в чем конкретно проблема?

— Во всем. Эта жизнь. Эта работа. Этот город. — Он лежит, спустив одну ногу с кровати и приподнявшись на локте.

Я киваю, но Дилип меня не видит, и я потихоньку беру его за руку. В телевизоре включается реклама, звук становится громче. Влюбленная пара лакомится чуть подтаявшей плиткой шоколада, облизывая друг другу пальцы. Видимо, это задумано как романтичная сцена, но мне противно смотреть, и я отворачиваюсь от экрана, чтобы меня не стошнило. Я ненавижу эту квартиру. Я хочу жить на странице глянцевого журнала, где все доступные поверхности заставлены бесполез-

ными, но симпатичными безделушками. Где я буду стоять в центре комнаты, неподвижная, как изваяние, и пыль никогда не осядет ни на меня, ни на мое барахло.

Я говорю:

— Даже не представляю, куда еще нам переехать.

Дилип глядит на меня, явно чего-то ждет, и я понимаю, что у него в голове есть готовый ответ и он хочет, чтобы я сообразила сама.

— У меня тоже есть семья, — говорит он, когда мое время выходит.

Я смотрю на свою ногу, лак на большом пальце почти облез. В верхней части стопы темнеют несколько тоненьких волосков. Я уже несколько месяцев забываю их выщипать. Дилип их не замечает. Или, может быть, замечает, но они ему не мешают. Или мешают, но он молчит из деликатности.

— Ты хочешь детей? — повторяю я свой вопрос и вдруг понимаю, что я сама не хочу детей, чья речь будет звучать точно так же, как звучит его речь: словно язык слишком свободно подвешен во рту.

Тот же вопрос я задала ему в самом начале наших отношений, месяца через три после первого

свидания, за бутылкой вина, когда мы рассуждали о мучениях наших родителей.

— Наверное, да. А ты разве не хочешь? — говорит он. Точно так же он мне ответил тогда, в прошлый раз. Он все такой же, каким был всегда. Он ни капельки не изменился. Завтра луна в поднебесье пойдет на убыль.

— Почему?

— Что почему?

— Почему ты хочешь детей?

Он пожимает плечами:

— Так положено. У всех есть дети.

Я не помню, что говорила ему в прошлый раз, не помню, как обозначила свое желание и обозначила ли вообще, я даже не знаю, хочу ли детей, но у меня ощущение, что я говорила ему, что хочу. Это были бы правильные слова. Я могла бы такое сказать. Мне нетрудно подлаживаться под других. Я к тому и стремилась всю жизнь, разве нет?

Я смотрю на Дилипа, и он улыбается.

— Ты сегодня не выходила из дома, да?

1986

Пол в ашраме холодный и белый, я прижимаюсь к нему щекой. Повсюду вокруг — чьи-то пятки в глубоких трещинах. Все обезвожены, но обильно потеют. Тела в белых одеждах склоняются надо мной, руки тянутся меня поднять. Руки смыкаются у меня на лодыжках, на плечах, на запястьях, я парю в воздухе в нескольких сантиметрах над полом, и вот уже снова лежу на полу. Тела в белых одеждах встревоженно шепчутся, обсуждают, что со мной делать.

Кали Мата гладит меня по щеке:

— Вставай, солнышко. Надо встать.

Я закрываю глаза под ее ласковой прохладной ладонью, пахнущей зеленым луком и топленым маслом. Я люблю Кали Мату. Для нее мне хотелось бы встать. Но я не могу. Я хочу пить. Что-то мокрое течет у меня изо рта. Это слюна. Под потолком кружится вентилятор. Ящерица бежит по стене, исчезает за белыми ногами санньясинов. Я пытаюсь свернуться клубочком, но дыра у меня в животе отзывается болью при каждом движении. Я смотрю на их лица, склонившиеся надо мной.

Я знаю их всех, но они все чужие, и лишь Кали Мата — моя. Ее голубые глаза как стеклянные шарики. Я вижу свое отражение в этих глазах: я лежу на полу, как засохшее пятнышко на белой краске. Люди в белых одеждах пришли, чтобы меня отскоблить.

Пол дрожит гулким эхом — мне все слышно, мое ухо так близко к земле, что слух обостряется до предела, — и я узнаю мамин голос. Она пробивается сквозь толпу, и все расступаются перед ней. При виде мамы я вся напрягаюсь. Я не виделась с ней уже много недель, я думала, что она обо мне позабыла. Я даже боялась, что она умерла. В моем присутствии о ней никто не говорит, меня к ней не пускают. Почему меня к ней не пускают? Почему она должна доставаться одному Бабе?

Она берет меня на руки и относит в другую комнату. Тычет мне в губы стаканом. Стеклянный край бьется о зубы и отзывается звоном. Я отпиваю глоточек воды и вздыхаю. У меня внутри все пересохло. Оглядевшись, я вижу, что это моя комната — комната, где я живу без нее, — и обнимаю ее, мою маму, и держу крепко-крепко, и заливаюсь слезами. Мой живот протестует болезненной резью.

— Она уже несколько дней ничего не ест. Зовет

тебя и трогает свое горло, говорит, что там что-то застряло.

Я не знаю, кто произносит эти слова, но чувствую, как напрягаются мамины руки. Словно деревенеют. Мама сердится. Я уже чую запах ее нарастающей злости.

Она швыряет меня на кровать, я ударяюсь затылком о тонкий матрас, лежащий на твердых деревянных досках. Не успеваю я вскрикнуть, как мама взбирается на меня, прижимает к кровати, не давая мне пошевелиться, мой вскользнувшийся страх замирает, обращается вспять и сжимается в тугой комочек внутри. Мама с размаху бьет меня по щеке, и, как с громом и молнией, сначала я вижу мелькнувшую руку и только потом слышу звонкий хлопок. Мама держит меня, стиснув в объятиях, и мне становится нечем дышать. Я кричу, но мой голос сдавлен, почти не слышен.

Свет начинает темнеть по краям и постепенно сжимается в точку. Считается ли удар избиением, если нет синяка? Я не могу вспомнить природу боли.

— Когда тебя зовут есть, надо есть, — шепчет мама. — Надо быть умничкой и слушаться взрослых.

Было время, когда я хорошо знала ашрам, когда его топография имела для меня смысл. Я научилась ходить босиком и получать удовольствие от ощущения камушков под ногами. Кали Мата промывала мои ссадины и порезы, втирала мне в кожу целительный сок алоэ, который выдавливала из срезанных листьев. Мы с ней много времени проводили в саду, где росли в основном папайи, густо увешанные плодами. Кали Мата рассказывала о полезных свойствах папайи, раскрывала упавшие плоды, резала их на дольки тупым перочинным ножом и угощала меня. Эти уроки продолжались и позже, когда я стала старше. Помню, когда мне было шестнадцать, Кали Мата научила меня сушить семена папайи и заваривать их вместе с чаем — в качестве натурального контрацептива.

Мы с ней подолгу гуляли на территории ашрама, и постепенно я выучила все детали пейзажа: каждую выемку, каждую ямку, каждый торчащий наружу древесный корень, вырвавшийся из цепкой хватки земли. Я знала каждую трещинку, куда можно забиться и спрятаться — среди змей и высоких папоротников, — где меня никто никогда не найдет.

По ночам, когда небо затягивала темнота, в

ашраме не было света, кроме слабого свечения фонариков, исчезающих в роще. Я ходила на ощупь, выставив руки перед собой, чтобы ни на что не наткнуться. Баба любил рассказывать, как он провел ровно сто дней в абсолютном молчании, совсем один, в уединенной пещере у Гомуха, одного из истоков Ганга. Вынужденное молчание создало внутреннюю тишину, которая обострила все остальные чувства, и у Бабы открылись сверхъестественные способности. Именно в эти сто дней он впервые познал ощущение гравитации, наблюдая за жизненным циклом клеток на собственной коже. Кали Мата однажды сказала, что его рассказы не надо понимать буквально, но именно так я их и понимала. Когда я бродила в ночи, в темноте, я ощущала каждую паутинку, каждый камушек под ногами, слышала шепот деревьев и запах жасмина, цветущего где-то вдали. Мои сандалии отмечали каждый шаг. Кожаные подошвы бесшумно хлопали меня по пяткам. Я училась слушать тишину.

В самом начале я думала, что никогда не смогу быть счастливой в этом чужом, странном месте. Я не спала по ночам. Я часами сидела, забившись в угол, сама по себе. Тихо плакала без еды, без воды и без сна. Санньясины пытались меня успокоить,

обнимали меня, утешали, порой даже бранили. Кали Мата щипала меня и говорила, что нельзя быть такой неблагодарной. Мне надо есть, надо пить, надо спать. Надо заботиться о себе и не насиловать свою природу. Я должна сделать это для Бабы. Я должна сделать это для мамы. Так говорила мне Кали Мата, так говорили и все остальные.

Они просто не знали, что, закрывая глаза, я забывала, кто я такая, и боялась исчезнуть совсем. Я боялась, что если засну, то проснусь уже кем-то другим. Мне дали старую мамину курту, белую и обтрепавшуюся по краям. Она пахла мамой, и я всю ночь не выпускала ее из рук. Лежа в постели, я слушала стрекот сверчков, писк летучих мышей. Мне казалось, они совсем рядом: где-то здесь, в этой комнате. Пружины матраса тихонько поскрипывали подо мной. Здание потрескивало в темноте, и даже земля представлялась зыбкой и ненадежной. Один неверный шаг, и тебя засосет в глубину.

При свете дня было легче, и, когда я чуть-чуть подросла, я занималась уборкой, как все остальные, помогала на кухне. Кали Мата говорила, что мы должны отдавать столько же, сколько берем, но я так и не поняла, как соразмерить отданное и взятое. Я ела помидоры, как яблоки. Под боль-

шими камнями в саду обитали колонии червей, я часами наблюдала, как они зарываются в землю, и порой уступала желанию расколошматить их между камнями и похоронить их расплющенные тела. Я сама мылась в ванной, даже в сезоны дождей, когда из водостока лезли полчища тараканов. Я научилась стирать свои трусики и вешать их на веревку сушиться. Кали Мата учила меня держать карандаш и контролировать слишком подвижную руку.

После четырех месяцев жизни в ашраме я наловчилась засыпать в одиночестве, слушать тихое дыхание Кали Маты на другом конце комнаты, находить теплую, уютную ямку в центре кровати и, свернувшись клубочком, нагревать ее собственным телесным теплом, чтобы потом можно было раскинуть руки и не бояться замерзнуть.

Но я не могла контролировать то, что происходило со мной во сне, неподвластном сознанию. Однажды утром я проснулась с расцарапанным лицом и подушкой, заляпанной кровью. Меня успокоили, сказали, что мне приснился кошмар, и подстригли мне ногти еще короче. Когда это не помогло, мне было велено спать в перчатках. Иногда я просыпалась туго спеленатой в просты-

ню, как в смирительную рубашку, и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Приходилось кричать, звать Кали Мату, чтобы она меня развязала. Она говорила, что меня связывают для того, чтобы я не металась в постели и случайно себя не поранила.

Я не носила подгузники, когда мы с мамой пришли в ашрам, но уже через месяц на меня надели подгузник. Потому что замучились каждый день стирать мои простыни. Мы прожили в ашраме четыре года, и все это время я ходила в подгузниках — не постоянно, но все же.

Иногда Кали Мата меня обнимала и прижимала к себе так крепко, что я слышала запах ее подмышек.

— Знаешь, а ведь я о тебе мечтала, — говорила она. — О ребенке, которому я буду нужна.

Бывали дни, когда я и вовсе не видела маму, меня к ней не пускали, не разрешали с ней видеться, даже не говорили, где она сейчас. Я научилась не задавать лишних вопросов. Лучше не спрашивать, если не хочешь услышать ответ. Когда мама все-таки появлялась, она была как видение, как мираж, и мы сидели бок о бок, обе в белых одеждах, и я вновь становилась придатком к ее телу. Она обнимала меня, целовала, кормила с

ложечки, размачивая в простокваше вареный рис, как делала раньше, когда у меня еще не было зубов. Иногда она приходила ко мне по ночам, когда думала, что я сплю, и тихонько ложилась рядом. Я лежала, затаив дыхание, и не решалась пошевелиться, пока мама пристраивалась ко мне сбоку, прилаживая свое тело к моему. Ее лицо и курта часто бывали мокры от слез, ее неровное, сбивчивое дыхание щекотало мне волосы. В другие разы ее голос срывался на визг, пронзавший воздух насквозь, и она меня била. Иногда даже ногами. Била, щипала, пинала, шлепала по щекам, хотя теперь я уже и не помню за что. Во мне эти мамины вспышки всегда отзывались растерянностью, и страхом, и какой-то невыразимой глубинной болью, ощущавшейся дольше, чем боль от ударов, и выжигавшей меня изнутри. Я понимала, что иногда мама есть, а иногда ее нет. Это не хорошо и не плохо, просто мы так живем. Когда-то мы вместе, когда-то врозь, независимо от желания или счастья.

Временами я пряталась ото всех. Иной раз по нескольку дней подряд. Я умела быть невидимкой, бесшумной и не имеющей запаха. Меня всегда находили, но лишь потому, что мне хотелось, чтобы меня нашли.

Я привыкла ходить босиком, и со временем у меня затвердели подошвы. Я не помнила, какими они были раньше, но точно другими.

При виде Бабы некоторые санньясины в ашраме рыдали навзрыд, точно перевозбужденные дети. Другие плакали тихо, почти неслышно. Там была одна женщина с кожей, похожей на молоко, свернувшееся в чашке с чаем. Каждый раз, когда мимо проходил Баба, она падала на колени, сотрясаясь всем телом. А потом прикасалась и к маминым ногам.

Но большинство обитателей ашрама были профанами. Так называла их Кали Мата. Она относилась к ним свысока, к этим невеждам, пытавшимся ухватить всего и побольше. Они были распущенны и неразборчивы в своих убеждениях, как непостоянные любовники. Они в открытую, прямо при Бабе, обсуждали свои сомнения, носили под куртами джинсы и обрезали рукава рубашек, чтобы у них загорали плечи. Торговцы фруктами и овощами устроили маленький рынок у входа в ашрам, неподалеку открылось несколько магазинов — как раз для таких случайных гостей. Там продавались белые штаны и рубахи, всех размеров и разных фасонов.

Среди санньясинов были еще и такие, кто сры-

вал с себя одежду в зале для медитаций и лежал на полу с голой грудью, раскинув в стороны руки и ноги, закатив глаза, сотрясаясь от хохота.

Этих последних я никогда не забуду.

И никогда не забуду, как Баба смеялся и хлопал в ладоши.

Его мягкий, вкрадчивый голос гремел, точно гром, и я каждый раз отводила глаза, когда слышала этот голос. Он говорил о желаниях и радости — говорил, что научит нас, как познать и желание, и радость в неразрывном единстве. Я так и не поняла, как достигается это единство, но, каждый день наблюдая за медитациями, всегда начинавшимися в тишине и завершавшимися в лихорадочном буйстве, я осознала, что жить можно по-разному. Вовсе не обязательно быть участником, можно быть просто зрителем. Каждый вечер, когда санньясины впадали в неистовство, выпуская на волю животных, заключенных у них внутри, я мысленно собирала свои впечатления: об ашраме, о маме, о тех мгновениях, из которых складывался мой день. За ужином я их раскладывала у себя на тарелке и изучала со всех сторон. Они лежали обмякшие, вялые. Не хотели бороться. Не стремились к победе. Они все равно никогда не сумели бы победить. Я слышала

гул голосов, я смотрела по сторонам и видела множество тел, как бы слитых в одно гигантское тело — в великана в сто раз больше Бабы, но отражавшего в себе все то, чем был Баба, в том числе и вместилищем многих желаний. Я знала, что эти желания существуют, что в них достаточно мощи, чтобы управлять погодой и каждый год вызывать наводнения, но для меня оставалось загадкой, как они распределяются между всеми, как передаются от одного человека к другому и как взять хоть немножко себе. Я была совсем маленькой и не понимала желаний взрослых. Для меня не было места в их мире, и мне некуда было идти. Каждый день я раскладывала на тарелке свои сокровища — собственные ощущения и мысли — и наблюдала, как они растут. Однажды я их смешала с едой и проглотила целиком.

Мы ушли из ашрама в 1989 году. Мне было семь лет.

Временами я чувствую, как та девочка рвется наружу, мечется где-то в районе горла, ищет выход. Но я глотаю ее, словно ком, вставший в горле, и она затихает до следующего раза, когда у нее вновь возникнет желание родиться на свет.

* * *

Два раза в году я снимаю все шторы в квартире и отдаю их в химчистку. Пока их не вернут, нам приходится занавешивать окна простынями. Когда я жила с мамой, мы стирали свои шторы дома, но Дилип заказал какие-то специальные светонепроницаемые занавески, слишком плотные и тяжелые для нашей стиральной машины. До встречи с Дилипом я и не знала, что значит спать в по-настоящему темной комнате, куда вообще не проникает свет с улицы. Дилип говорит, что в Америке все иначе, но мне этого не понять, пока я там не побываю и не увижу своими глазами. Я выросла в городе, всегда конфликтующем с самим собой и давно свыкшемся со своим внутренним хаосом. Здешние стены пропускают и звуки, и запахи, и, кажется, даже свет. Я спрашиваю, а что в этом плохого? Ничего, отвечает Дилип, но так быть не должно.

Я говорю, что у него просто пунктик на чистоте и стерильности. Он обводит взглядом квартиру, где моими стараниями наведен идеальный порядок, и смеется.

Я качаю головой.

— Нет, тут другое. У меня точно что-то психиче-

ское. Я понимаю, что это не очень нормально, а вы там, в Америке, сами кормите своих внутренних тараканов.

Он глядит на меня, скрестив руки на груди, и говорит, что я не могу даже представить, как сильно здешняя жизнь отличается от той жизни, к которой он привык с детства. Я обвожу взглядом комнату: телевизор, кровать, шторы, непроницаемые для света. За окном — рестораны, кафе и торговые центры. Я действительно не понимаю, в чем такая уж принципиальная разница.

— Это все суррогат, — говорит он.

Я провожу много времени у себя в студии. На всех моих карандашах стоит обозначение твердости, серийный номер и логотип фирмы-производителя. Я слышу, как Дилип ходит по дому: не звук шагов, а едва уловимый треск статических помех, создаваемых его телом, движущимся в пространстве. Когда Дилип впервые увидел мои рисунки, он спросил, где я черпаю идеи и как выбираю тематику своих работ. Я ответила, что ничего не выбираю. На самом деле я вообще никогда не задумывалась, что и как рисовать. Идеи и темы возникают сами собой, как бы случайно. По сути, это они выбирают меня, а не наоборот.

Домработница стучит в дверь, спрашивает, что

готовить на ужин, но я напрочь ее игнорирую. Однажды мы с Дилипом поругались, когда он услышал, как я ее распекаю. Он сказал, что мы выросли в разных мирах и во многих житейских вопросах между нами всегда будет пропасть. Его, например, удивляет мое отношение к домашней прислуге — американцы так себя не ведут. Я сказала, что не надо идеализировать внешний вежливый благовоспитанный лоск его детства, потому что все знают, на что способны американцы.

Я начинаю рабочий день с зарисовок по памяти, чтобы разогреть руку. Свободные, почти бесформенные наброски. Мимолетные впечатления. Обычно что-то знакомое и простое, что всегда на глазах: зубная щетка, ключи от машины, части тела Дилипа. Единичный объект, который можно дополнить, придать ему завершенность, вписать в контекст: зубная щетка во рту, ключи от машины в руке, продолжение тела Дилипа. Я добавляю детали, даже если общая форма намечена лишь бледным контуром. Я добавляю текстуру короткими, резкими линиями — тень, перекрестная штриховка, волосок в виде черного завитка.

Я понимаю, что надо остановиться, когда вижу, что меня унесло далеко от изначального замысла.

Когда изображение предмета теряет сходство с предметом и становится почти гротеском. Животное превращается в человека, человек — в вещь. Это моя подготовка к настоящей работе. Мой способ избавиться от всякой мути, накопившейся в голове. Очистка системы. Своего рода катарсис, если катарсис и вправду способствует очищению. Я знаю, что иногда очень полезно как следует выплакаться, но Дилип говорит, что американские футболисты, которые целыми днями колошматят друг друга в борьбе за мяч, наверняка бьют своих жен, так что, наверное, только любовь порождает любовь.

Я достаю свой вчерашний рисунок из ящика стола. Для меня лицо на портрете всегда выглядит одинаково, хотя каждый день добавляет очередное едва уловимое отличие, еще на шаг отдаляясь от оригинала. Порой у меня возникает практически неодолимое искушение вернуться к началу и взглянуть на свой самый первый рисунок. Но искушение — часть процесса. Я никогда не смотрю на тот, первый рисунок, пока не закончу сегодняшнюю работу.

Иногда я боюсь, что однажды сорвусь и допущу небольшую ошибку, которая превратит человека с портрета в человекообразную обезьяну: чуть

собьешься в пропорциях — и получишь совершенно иной биологический вид. Или, может быть, мне будет лень слишком сильно стараться, и я расплющу его небрежной рукой, превращу в манекен. Но эти страхи не постоянны; я не раз наблюдала, как они надувались и лопались, словно мыльные пузыри.

Бывают дни, когда страх ошибиться отзывается дрожью в руке. Бывают дни, когда вероятные ошибки кажутся несущественной мелочью в свете стольких лет работы. Бывают дни, когда мне хочется все бросить и никогда больше не видеть это лицо.

Я убираю законченный рисунок в ящик стола и задвигаю его с глухим стуком.

Вечером мы с Дилипом идем в гости. Нас пригласили на вечеринку. Все угощаются коксом, и мы в том числе. Как все, так и мы. Я стою на балконе без шали, чувствую, как волоски у меня на руках встают дыбом. Смотрю вниз с девятого этажа. Почему-то мне хочется, чтобы люди внизу были крошечными, как муравьи, но для этого мы недостаточно высоко, и я огорчаюсь и даже немного сержусь. Меня утомляют застольные разговоры, я вообще быстро устаю от людей, но мое сердце колотится, как сумасшедшее, и я тос-

кую по тем временам, когда вечеринки казались по-детски невинными — с экстази и танцами до упаду.

Всем интересно, как Дилип справляется со своим вегетарианством. Ему задают вопросы по очереди, ждут, когда он обдумает ответ. Хозяйка дома следит, чтобы ему предлагали исключительно вегетарианские блюда. Дилип говорит, что чувствует себя лучше, бодрее и чище, по сравнению с тем, что было раньше, когда он ел мясо.

Одна наша общая подруга говорит, что он как будто помолодел. Он улыбается ей, и они принимаются обсуждать дефицит витамина B среди населения Индии.

Фонарики, развешанные на лоджии, мерцают и качаются на ветру. Разговор об относительных преимуществах вегетарианства переходит на трудности, с которыми сталкиваются приверженцы палеолитической и щелочной диет на фоне традиционно индийской кухни. Идет обсуждение, кто из присутствующих перешел с белого риса на темный.

— Ты заметил, — говорю я Дилипу по дороге домой, — когда на диету садится мужчина, к нему относятся с уважением, а женщину, если она на диете, все упорно пытаются уговорить съесть

хоть кусочек того, что нельзя?

— Вегетарианство — не просто диета. Тут речь идет вовсе не о тщеславии.

Откинув голову на подголовник, я смотрю в окно.

— Я пригласила маму погостить у нас.

Дилип собирался кивнуть, но, кажется, передумал.

— Погостить? Или жить с нами?

Я смотрю на него, открыв рот.

— Погостить. Два-три дня. Максимум неделю.

Дилип сидит, откинувшись на спинку сиденья, и смотрит прямо перед собой.

— Да, конечно.

Дождавшись, когда мы проедем несколько «лежачих полицейских», расположенных почти вплотную друг к другу, я говорю:

— Мне кажется, что когда-нибудь маме придется жить с нами.

Дилип тянется к магнитоле и делает музыку громче, чтобы шофер нас не слышал.

— Когда?

— Я не знаю. Не могу назвать точную дату. Но скоро.

Мы заходим в квартиру, и я сразу снимаю туфли. Чувствую запах дешевой кожи. Вытираю

вспотевшие стопы о брюки.

Мой муж улегся на диван, не сняв ботинок. Мы глядим друг на друга, несмотря на все зеркала. Вокруг нас восемь диванов, шестнадцать торшеров, четыре обеденных стола и тридцать два стула. Я замечаю, что стекла местами заляпаны отпечатками пальцев. Днем я их не заметила. В комнате много предметов, не сумевших пробиться в зеркальные отражения. Они разрезаны на половинки или четвертинки, частично перекрыты другими предметами. Комната при ограниченных квадратных метрах не способна вместить это избыточное изобилие, эти разрозненные, фрагментарные реальности. Наша квартира забита вещами. Всего слишком много, и мне хочется что-нибудь выбросить.

— Ты уверена, что ей стоит жить с нами? Вы же не вытерпите друг друга и двух минут.

У меня сводит скулы, я не могу открыть рот. Я получила ответ, и ответ мне не нравится. Дилип слишком многое знает о маме и может использовать это знание против меня. Иногда я жалею, что так много ему рассказала. Иногда я жалею, что мы с ним не чужие.

— Я ей нужна.

Он кивает и пожимает плечами. Значит ли это,

что он согласен, но не знает, как лучше ответить? Или он меня слышит — слышит слова, — но считает, что я говорю не всерьез? Такая загадочность именно в эти мгновения кажется очень недоброй, жестокой, совсем на него не похожей. Хотя, может быть, даже лучше, что он промолчал. Мне бы наверняка не понравился его ответ.

И все-таки мне бы хотелось понять, что означает его кивок. Я смотрю на Дилипа и вижу, что он тоже ждет. Ждет ответа на свой вопрос, о котором я уже напрочь забыла. Мы оба ждем, кто первым нарушит молчание. Кто оборвет эту неловкую паузу. Мы оба взвинчены алкоголем, нас обоих накрыл кокаиновый отходняк, нам лень напрягаться и проявлять чуткость друг к другу.

— Мне сложно понять ваши с ней отношения, — говорит он. — Когда она рядом, тебе тяжело. И ей с тобой тоже тяжело. Если честно, я даже не знаю, что из этого выйдет. Боюсь, как бы ей не стало хуже.

Я киваю. Он прав. Но мне хочется плакать, что я так сглупила и сама дала ему в руки оружие, которое режет меня по живому.

* * *

Я пытаюсь приклеить белые картонные карточки с телефонами экстренных служб — я записала их крупными жирными цифрами, — к стене над столиком, где стоит мамин городской телефон. Краска слезает кусками, скотч держится плохо, часть карточек падает на пол. Я продолжаю упорно лепить их на стену. Мама сидит на диване, наблюдает за мной. Она кладет руку мне на ягодицу и трет грубоватыми круговыми движениями.

— У тебя будет ребенок.

Я удивленно смотрю на нее.

— Нет, пока нет.

— Уже совсем скоро.

— Вряд ли скоро. Мы еще не готовы.

— Я точно знаю. Мне снился сон.

В последнее время она только и делает, что пересказывает всем и каждому свои сны. Мне, соседям, прохожим на улице. Недавно она посоветовала привратнику привести в порядок дела. Он воспринял это как угрозу и теперь не открывает мне ворота, когда я приезжаю к маме на машине.

— Ты уже столько себе нарастила, — говорит она и по-прежнему растирает мою ягодицу. Как

будто пытается ее стереть. — А детей у тебя еще нет.

Я молчу.

Она продолжает:

— Притом ты вечно сидишь на диетах.

— Все сидят на диетах.

Она качает головой:

— Я не сижу и никогда не сидела. В твоем возрасте? В твоем возрасте я пачками ела печенье, а сверху мазала маслом или плавленым сыром.

Меня пробирает дрожь. Я тоже так делала, мазала маслом печенье и ела, как не в себя, быстро-быстро и словно в бреду — в вечном страхе попасться монахиням из монастырской школы — после наших ночных набегов на их кладовую. Для меня этот вкус до сих пор — вкус запрета и страха разоблачения, вкус недозволенного удовольствия. Вкус проглоченной в спешке еды, которую надо было еще умудриться удержать в желудке и которая незамедлительно поступала мне в мозг, всегда затуманенный от нехватки жиров, и меня уносило куда-то в космос.

Мама не знает. Я никогда ей не рассказывала о том отрезке моего детства, когда я была вечно голодной, и с тех пор постоянно ищу насыщения. Разговаривать с мамой всегда было трудно. Мы

так и не научились слушать друг друга. В наших с ней отношениях где-то случился надлом, словно одна из нас не исполнила свою часть договора, не удержала свою сторону моста. Может быть, проблема в том, что мы стоим на одной стороне, глядя в бездонную пустоту. Может быть, мы с ней стремились к одному и тому же и наши два голода в сумме удвоили разыгравшийся аппетит. Может быть, это и есть изначальная причина: ненасытная дыра в самом сердце всего, некий неизлечимый порок развития.

В кухне пахнет чем-то прокисшим, уже забродившим. На разделочном столе рядом с раковиной стоит открытая кастрюля с замоченной дробленой фасолью. Зерна тают в воде, растворяются, пузырятся белой слизью. Я спрашиваю у мамы, давно ли она замочила дал. Она медленно входит в кухню, заглядывает в кастрюлю. Ее взгляд неподвижен, но в голове вертятся мысли, мчатся по кругу воспоминаний о нескольких последних днях, смутных и совершенно нераспознаваемых.

Я ставлю кастрюлю в раковину, открываю кран до предела. Вода стучит о металл, словно волны, бьющиеся о берег.

Мама смотрит на меня так, словно не видела

много лет.

— Ты какая-то другая, — говорит она.

По стене расползаются трещины, зародившиеся где-то в недрах соседней квартиры. Прорастают, ветвятся в углу моей студии. Бывают дни, когда наличие соседей создает ощущение покоя, бывают дни, когда близость чужих людей воспринимается как опасность. Если по дому расходятся трещины, что еще проникает сквозь стены? Голоса, сырость. Иногда, когда мы с Дилипом орем друг на друга, я представляю, как соседи за стенкой приникают ушами к штукатурке. Или, может, сидят рядышком на диване и чувствуют, как звуки вторгаются в их квартиру, почти зримые звуки, почти осязаемые.

Мне трудно включиться в происходящее здесь и сейчас, потому что мой разум блуждает во времени и пространстве, не только в прошлом и будущем, но и в домах нашего микрорайона, в телах, населяющих этот город. Когда я изучаю статистические диаграммы, вся страна и ее население видятся мне беспорядочным нагромождением данных. Цифры клонятся в сторону молодых и голодных, но это не цифры, а люди, и я представляю, как они толпятся у меня во дворе, напирают, карабкаются друг на друга, пока не

найдут способ проникнуть внутрь — через окно, через люк, через тонкие трещинки в стенах, — и вот они уже здесь, в моем доме, подступают все ближе и ближе, обильно потеют, кричат, блеют, мычат; иногда это белое море, иногда — разноцветное, и я всем своим существом ощущаю угрозу, и волосы на затылке встают дыбом, даже когда мы с Дилипом продолжаем ругаться по поводу мебели, подходящей или неподходящей для студии.

Мы присмотрели односпальную кровать, накрытую красным покрывалом с надписью РАСПРОДАЖА. Кровать сгодится для мамы и не займет много места в студии, но Дилип в раздумьях. А вдруг мы потом пожалеем, что сразу не взяли кровать побольше?

— С чего мы вдруг пожалеем?

Я делаю вид, будто не понимаю, хотя и без всяких подсказок могла бы назвать сразу несколько причин. Мы решаем, что пока можно взять эту маленькую кровать, а вероятные будущие сожаления отложить на потом. В конце концов, мы не знаем, как все обернется и как долго мы проживем в этой квартире. Дилип добавляет: «И как долго нам будет нужна отдельная комната под твое творчество, и как долго мы проживем

в Индии и вообще на этом свете». Он так шутит, он хочет меня рассмешить, но я чувствую лишь нарастающее раздражение. Мы встаем в очередь к кассе, и я представляю, как буду жить в незнакомой стране и умру на чужбине, вдали от дома. Единственного дома, который я знала. Кассир, пробивающий нашу покупку, возвращает меня к реальности. Ему любопытно, для кого мы берем кровать. Наверное, для ребенка.

Я говорю:

— Нет. Это для моей мамы.

— И как я, по-твоему, буду спать в этой каморке? — говорит мама, обводя взглядом книги, шкафы и картонные коробки, составленные друг на друга в углу. Я стою у окна, мну в руках краешек тонкой светлой занавески. Окно моей студии выходит во двор с бассейном, которым, похоже, не пользуется никто из жильцов дома. Птичьи перья и опавшие листья плавают на воде, образуя массивы суши, и двор кажется еще грязнее, чем обычно.

— Я могу вынести все из комнаты, — говорю я, по-прежнему глядя в окно.

— Нет-нет. Не надо.

Она не произносит больше ни слова, но я слышу, как она думает: «*Я здесь ненадолго».* Мы

не обсуждали, что это будет: пробный прогон предстоящего неотвратимого мероприятия или просто гостевая ночевка, — и мне кажется, так даже лучше. Пусть каждая из нас пребывает в своей отдельной иллюзии. Но, когда мы открываем холщовую сумку, которую мама взяла с собой, и выясняется, что она все забыла: зубную щетку, лекарства, ночную рубашку и смену белья, — я понимаю, что время моих иллюзий прошло. Потому что хотя бы у кого-то из нас двоих должна быть ясная голова.

Я беру машину и еду к маме домой, чтобы забрать ее вещи. Кажется, я застряла, как кассетная пленка, зажеванная механизмом. Я совершенно не представляю, как подготовить ее к последнему прощанию и как подготовиться к нему самой. Мы все должны осознать, что конец неизбежен, хотя распознать его будет непросто, потому что мама на какое-то время останется с нами и после конца, и когда мы назавтра приедем к ней, она будет точно такой же, какой была вчера. Это долгая и затяжная потеря, когда все исчезает не сразу, а по крупинке за раз. И ничего не поделаешь, остается лишь ждать. Ждать, пока она окончательно не исчезнет внутри своей оболочки, и тогда можно будет скорбеть об утрате, особенно тяжкой как

раз потому, что мы не смогли по-настоящему попрощаться.

В маминой квартире царит беспорядок на грани стихийного бедствия, которое сдерживают только вялые старания Кашты навести чистоту. Но она тоже знает, что ее нанимательница нездорова, и беззастенчиво этим пользуется. Как мне найти в себе силы любить свою маму уже в самом конце? Как найти в себе силы ухаживать за пустой оболочкой, когда в ней не останется ничего от той женщины, которую я знала как мать? Когда она окончательно перестанет соображать, кто она и кто я, буду ли я в состоянии заботиться о ней так же, как забочусь сейчас? Или я стану небрежной и равнодушной, как мы равнодушны с чужими детьми, или безмолвными животными, или слепоглухонемыми людьми, потому что уверены, что равнодушие и небрежение сойдет нам с рук? Всякое добропорядочное поведение, так или иначе — игра на публику, когда кто-то нас видит и оценивает наши действия, а если нет страха перед осуждением, то какой смысл стараться?

В комоде, в ящике с бельем, сложены мамины старые заношенные бюстгальтеры. Я выгребаю всю кучу.

— Что вы делаете?

Я оборачиваюсь к двери. Кашта топчется на пороге, чешет пальцем макушку.

— Они старые, рваные. Я хотела их выбросить.

Кашта переминается с ноги на ногу.

— Я бы их забрала.

Я собиралась выкинуть их на помойку вместе со стопкой журналов, о которых — я абсолютно уверена — мама даже не вспомнит. Но Кашта глядит на меня, на охапку изобличенного белья у меня в руках. Я отдаю ей бюстгальтеры, и секрет остается секретом. Надеюсь, пропажа останется незамеченной, пока мама не начнет подозревать, что Кашта подворовывает ее вещи. Хотя, возможно, мама будет рада, что это старье, от которого она никак не могла избавиться, наконец-то исчезло.

— Только не оставляйте их здесь. Отнесите к себе домой, — говорю я Каште перед тем, как уйти.

Я возвращаюсь домой и вижу, что настроение переменилось — при содействии виски и сумерек. Мама пьет из большого запотевшего бокала. На всех поверхностях блестят кольца влаги. Дилип оборачивается ко мне.

— Тебе налить? — Он поднимает бокал, кубики льда постукивают друг о друга.

Я качаю головой.

Мама переоделась. Я узнаю свое платье. Цветастый хлопок туго обтягивает ее пышные формы и расплющивает грудь. Проймы врезаются в подмышки. Мама сильно потеет. Пуговки на спине еле держатся в петлях. Я сажусь на диван рядом с мамой и вижу участки кремовой кожи, никогда не знавшей солнца.

— Мам, зачем ты надела мое платье?

Она смотрит на меня, переводит взгляд на Дилипа. Он моргает, и мама смеется, по-прежнему не сводя с него глаз.

— Это мое платье, — говорит она.

— Нет, не твое. Оно тебе явно мало.

Она пожимает плечами, насколько это возможно в таком тесном платье.

В моем платье.

— У меня точно такое же.

Дилип упорно глядит в свой бокал, избегая зрительного контакта с нами обеими, хотя мы пристально наблюдаем за ним и, наверное, ждем, что он станет судьей в нашем споре. Он, должно быть, боится, что уже совсем скоро так будет всегда, каждый день. Каждый вечер. Что он там ищет, в своем бокале? Возможно, путь к бегству.

Я открываю сумку, с которой ездила к маме, и

вынимаю ее халат. Пытаюсь отдать его ей, но она делает вид, что не видит его в упор, и тянется за журналом на столике у дивана. Не глядя на меня, листает журнал и вдруг усмехается.

— Нет, ну ты глянь, — говорит она.

У нее сухой, ломкий голос.

Дилип наклоняется вперед.

— Повсюду эти каляки-маляки. Это вообще что? Нога?

Она нашла ту страницу, которую я исчеркала всякими загогулинами, они почему-то так сильно ее оскорбляют, что ей обязательно надо высказать свое фи.

— Разве это похоже на ногу? — вопрошает она, обращаясь к Дилипу. — У нее с детства такая привычка. Рисует на всем. Все ей надо изгадить, на всем надо оставить свою отметину. На нее вечно жаловались в интернате. Мне кажется, ее поэтому и исключили из школы. Что говорила та монахиня? Ваша дочь портит все, до чего ни дотянется. Ты представляешь? Ее исключили из школы за эту привычку.

Дилип смотрит на мою руку, на маленький шрам на тыльной стороне ладони, и тихонько откашливается.

— У нее талант. — Дилип говорит обо мне так,

словно меня нет рядом. — Она с детства знала свое призвание, можно ведь сказать и так.

Мама хохочет, от смеха сгибается пополам, чуть не ударившись лбом о край своего бокала. Волосы падают ей на глаза. Она оборачивается ко мне:

— Она всегда была странной. Вот ее основное призвание. Она с детства ведет себя странно, и с возрастом мало что изменилось. Взять хотя бы ее рисунки. Что это за творчество? Не понимаю. Одно и то же лицо, день за днем. Это кем надо быть, чтобы маяться такой дурью?

— Мама, — говорит Дилип. — Наверное, нам надо…

— Люди интересуются, а я не знаю, что им говорить. Мне стыдно за дочь.

— Тебе за меня стыдно?! — Я срываюсь на крик.

У меня дрожат губы. Эта женщина, которая за всю свою жизнь не сделала ничего стоящего и полезного, считает меня позором семьи?

— Почему ты мне просто не скажешь, кто он такой? Кого ты все время рисуешь по той фотографии? — Она вся сжимается в тугой комок, в ее взгляде мелькает тревога.

— Я тебе говорила миллион раз, — произношу я сквозь сжатые зубы. — Человек на портретах

— это кто-то, кого видит зритель, а каждый видит кого-то другого. Оригинал с фотографии уже не имеет значения. Это был просто снимок какого-то незнакомца, и я давно его потеряла.

Мама прижимает ладонь ко лбу и закрывает глаза.

Дилип тихонько откашливается, залпом допивает свой виски и спрашивает:

— Мама, вы будете ужинать?

Она открывает глаза и глядит на него, поджав губы. Потом поднимается на ноги, очень медленно, как бы с натугой, и на мгновение нам кажется, что она сейчас упадет. Она стоит, абсолютно спокойная, и качает головой:

— Мне надо прилечь отдохнуть.

Я наблюдаю, как она выходит из комнаты с бокалом в руке, и вдруг понимаю, что мне нечем дышать. Во мне все кричит от бессильной ярости. Мне хочется ее ударить, унизить, сорвать с нее мое платье. Хочется сделать ей больно. Я закрываю лицо руками и, когда, наконец, снова чувствую, что смогу вынести яркий свет, оборачиваюсь к Дилипу. Он глядит на меня, наклонившись вперед и упираясь локтями в колени. Я знаю, что он сейчас скажет. Как она будет жить с нами? Разве можно пускать в дом

чудовище, которое все здесь отравит?

— Эти рисунки и вправду ее напрягают, — говорит он.

Я чувствую, как мои брови хмуро сдвигаются к переносице. Я глотаю комок, вставший в горле, и пытаюсь пожать плечами.

— Но ты все равно продолжаешь, даже зная, как сильно ей это не нравится.

У меня в ушах стучит кровь. Я смотрю на свои руки, сложенные на коленях.

— По-моему, я и так слишком долго жила, постоянно оглядываясь на нее.

Я бесшумно хожу по спальне, хотя внутри все кипит и взвивается на дыбы, как взбесившийся конь. Я вновь и вновь вспоминаю сегодняшний вечер, переживаю все заново: каждое ее слово, ее дикий смех, ее отвратительное рыхлое тело, выпирающее из-под моего платья. И слова Дилипа, моего мужа — предательский удар в спину, которого я совершенно не ожидала. Он же сам не хотел, чтобы она жила с нами. Он сам мне сказал, что я стою слишком близко и мне надо отойти подальше от ее прогрессирующего безумия. А теперь он заявляет, что мне надо бросить мою работу, потому что она огорчает маму?! Почему все должно замыкаться на ней? Почему вечно

только на ней? Я не вижу, но чувствую, как Дилип ворочается во сне. Слышу его размеренное дыхание. Мне хочется наброситься на него и задушить голыми руками.

Я резко сажусь на постели, услышав какой-то пронзительный звук. Он донесся из студии.

Открыв дверь, я вижу рассыпавшиеся по полу осколки стакана с водой, который оставила маме на ночь. Осколки поблескивают в свете пламени. Мама сидит, точно ведьма, зачарованная маленьким костерком, горящим в мусорной корзине. Где она раздобыла спички или зажигалку? Дилип подходит и встает рядом со мной. Мы вместе смотрим, как мама бросает в огонь смятые листы бумаги. Бросает сосредоточенно и методично. Ждет, когда загорится один, и только потом берется за другой. Она нас не видит, не замечает. Мой взгляд скользит по разбросанным записным книжкам с выдранными страницами, по клочкам разорванных рисунков. Я стою, будто парализованная, завороженная светом огня в темной комнате, всей этой сценой, словно вышедшей из кошмарного сна.

Я вижу, как в пламени вырисовывается фигура, очертания танцующего божества, и во мне нарастает какой-то дикий, первобытный ужас.

Мама смеется и выливает в корзину содержимое большого бокала. Пламя взмывает ввысь, фонтан огня бьет в потолок. Жар в лицо — как пощечина. Я отворачиваюсь, на секунду зажмурившись. Обрывки горящей бумаги летят из корзины — пепел и белые клочья, обугленные по краям, — и сыплются на пол. Мама наклоняется еще ниже, подол ее платья горит, но она этого не замечает, и мы обе испуганно вздрагиваем, когда включается свет и на нее выливается ведро воды.

Мама моргает, растерянная, мокрая и обожженная. Ее намокшее платье становится почти прозрачным и липнет к телу, я вижу красные волдыри у нее на руках. Она дрожит, как в ознобе, и обнимает себя за плечи.

Сколько времени я здесь пробыла? Акриловый пол, имитирующий паркетную доску, местами расплавился, спекся в дымящиеся лужи пластика. Я кашляю, и Дилип открывает окно. Я сижу на полу и смотрю на него снизу вверх. С такого ракурса его плечи кажутся прямо-таки богатырскими.

Я помогаю маме переодеться в сухой халат, старательно отводя взгляд от волдырей у нее на пальцах. Мы укладываем ее спать на диване в гостиной. Диван обит кожей, и простыня скользит, но других спальных мест у нас нет. Мы с Дилипом

молча смотрим, как мама лежит, свернувшись калачиком. В ту ночь мы еще долго не можем заснуть. Пятна света на потолке нашей спальни несутся, как взбудораженные облака.

На следующий день я без слов отвожу маму домой, не слушая Дилипа, который требует вызвать врача. Меня не волнует, что она может себе навредить. Пусть делает что хочет, но у себя дома. Она хотела уничтожить мои рисунки и таки уничтожила. Годы работы, подготовительные эскизы, некоторые — десятилетней давности и даже больше, — все исчезло в одночасье. Все мои зарисовки, все воспоминания, закрепленные в образах, запись мгновений из жизни, по сути — мое становление, когда я заново создавала себя как отдельную единицу. Отдельную от нее. Возможно, она замышляла и нечто большее. Возможно, она собиралась разрушить мой нынешний дом, мой супружеский дом, где я могу спрятаться от нее. Единственное место, где ей меня не достать. Может быть, она надеялась сжечь мой брак. Испепелить мою жизнь.

Разбираться с последствиями пожара нам придется еще долго. Маляр заломил запредельную цену, чтобы забелить пятно сажи на потолке. Пол надо будет менять целиком. В течение двух

недель в студию не войти: это закрытая для посещения опасная зона, где копится пыль, едкие испарения химикатов и хаос. Все мои уцелевшие вещи временно переехали в гостиную, разложены по коробкам, стоят в углу. Мы оба прекрасно осознаем, что ничего этого не случилось бы, если бы я сразу освободила комнату.

Я просыпаюсь в бледном, туманном свете и вижу, что все коробки открыты. Мои рисунки раскиданы по всей комнате. Где-то стопками, где-то отдельными листами. Лицо на портретах выставлено напоказ — такое ранимое и беззащитное перед всеми стихиями, — одно и то же лицо, но с едва уловимыми различиями, оно повторяется, как бесконечное зримое заикание, окружившее Дилипа со всех сторон.

— Ты говорила, что фотография давно потерялась.

Мой взгляд прикован к рисункам. Я уже очень давно не видела их сразу все вместе, вплотную друг к другу. Я слышу, что Дилип что-то говорит, но смысл его слов до меня не доходит.

Он повторяет:

— Ты говорила, что фотография давно потерялась.

Я подхожу к нему ближе. У него на ладони ле-

жит фотография с загнутым уголком. Я отступаю на пару шагов.

— Почему ты мне соврала?

У меня пересохло во рту после ночи.

— Зачем было врать? Кто он такой?

Я пытаюсь сглотнуть слюну.

— Я в последний раз спрашиваю. Кто он такой?

— Я нашла фотографию. — Я слышу собственный голос словно издалека. — В ее вещах.

— Нашла? Или сама сделала снимок?

— Нашла.

— Антара, кто это?

— Никто. Мне — никто. Это мамин знакомый. — Я стою, вся поникшая. — Ее бывший любовник.

1989

Я поняла, что сегодняшней ночью произойдет что-то странное, как только мама влетела в комнату, где я жила с Кали Матой. У мамы на лице наливались багровые синяки. Дверь с грохотом захлопнулась у нее за спиной.

— Просыпайся, — сказала мама.

Она положила в холщовую сумку бутылку с водой и сто рупий, перетянутых резинкой. Села рядышком с Кали Матой и стала что-то рассказывать ей вполголоса.

Я знала, что они говорили о ней, златовласой красавице, новой возлюбленной Бабы, которая теперь займет мамино место в его комнате за резной дверью. Все уже решено. Кали Мата вздыхала и качала головой:

— Зачем тебе уходить? Я же осталась. И все остальные тоже остались. Мы тебя любим. Ты — одна из нас. Для тебя здесь всегда будет место.

Мама смеялась и плакала одновременно. Вытирала сопли рукавом курты. Ее глаза были распахнуты широко-широко, губы поджаты.

— На самом деле я ненавижу ашрам, — сказала

мама. — И всегда ненавидела.

Я никогда в жизни не видела маму такой. Меня всю трясло. Кали Мата меня обняла и сказала, что она меня любит.

Мы ушли, ни с кем больше не попрощавшись. Нас никто не провожал. Сначала мы шли пешком. Ночь наполнилась грохотом грузовиков и резким запахом выхлопных газов. Мама беззвучно шевелила губами, отговаривая себя от того, чтобы повернуть назад. Она зажимала себе рот рукой, не давая словам прорываться наружу.

Перед нами остановился старенький микроавтобус. В темной кабине лица водителя было не видно. В салоне на заднем сиденье лежал какой-то шипастый сверток, перетянутый ветхой веревкой.

— Что там у вас? — спросила мама. Водитель посмотрел на нее и ничего не ответил. — Мебель?

— Может быть, — сказал он. — Вам куда?

Ночь была жаркой и душной, но он сидел в вязаной шапке и потрепанном старом шарфе. Его небритые щеки заросли седой щетиной, из ушей торчали пучки волос. Глаза за толстыми стеклами очков казались огромными, словно увеличенными в два раза по сравнению с их реальным размером. В его зрачках расцветали

синие цветы.

— Клуб «Пуна», — сказала мама.

Он кивнул:

— Клуб «Пуна».

Я сидела у нее на коленях на пассажирском сиденье. Она крепко держала меня, прижимая к себе. Мне ужасно хотелось по-маленькому, но я молчала. С перекошенного зеркала заднего вида свисала крошечная металлическая фигурка Лакшми. Богиня сидела в цветке лотоса. У нее было четыре руки. Или шесть. Она дергалась каждый раз, когда машина подскакивала на ухабах. Мама вздохнула и откинулась на спинку винилового сиденья. Водитель перегнулся через нас, чтобы подправить дребезжавшую пассажирскую дверцу. На меня пахнуло серой и запахом его недавней трапезы. Он убрал руку не сразу, задержал на секунду прижатой ко мне, к маминым рукам, обнимавшим меня за талию.

— Когда-нибудь все плохое забудется, — прошептала мама мне на ухо. — Когда ты вырастешь, все эти беды забудутся, как не бывало.

Мы подъехали к клубу уже на рассвете. Охранник узнал маму даже в таком растерзанном состоянии и впустил нас внутрь. Мама попросила подвезти нас до клуба, потому что это было

единственное место в городе — не считая железнодорожного вокзала, — куда водитель уж точно знал, как проехать. И это было единственное место в городе, где мама могла бы бесплатно воспользоваться телефоном. Тогда я еще не понимала, что, уходя из ашрама, мама не знала, что будет дальше. Она совершенно не представляла, куда мы пойдем, кто согласится принять нас у себя и на каких условиях. Она несколько лет не общалась с мужем. Она заявила родителям, что порвет с ними все отношения, если они будут настаивать, чтобы она вернулась в дом мужа и попыталась спасти свой брак.

Мама велела мне ждать на детской площадке у входа, пока она будет звонить. Я легла на траву у подножия металлической горки и уставилась в небо. Я наблюдала, как птицы садятся на провода, протянувшиеся над деревьями, и качаются, как на качелях. На детской площадке было тихо и пусто. Вокруг никого. Ни единой живой души. Я знала, что дети любят играть на таких площадках, но сама никогда не играла и не совсем понимала, что надо делать. Я решила, что ненавижу детские площадки, странные металлические сооружения без смысла и цели. Ненавидеть детские площадки было легко и приятно, ненависть задавала понят-

ное направление моему смутному недовольству, закрепляла его на конкретном предмете, который можно увидеть глазами и потрогать руками. Этот прием я использую до сих пор, когда мне неуютно или тревожно. Я отвергаю сама, чтобы не быть отвергнутой.

Когда мама вернулась, у меня были черные коленки и грязь под ногтями. Или я испачкалась еще раньше? Уже совсем рассвело. Мама, кажется, ничего не заметила. Она схватила меня за плечо. Я чувствовала, как колотится ее сердце и каждый удар отдается в руке.

— Они нам не помогут.

Я спросила:

— Кто?

— Твой ужасный отец. И твои дедушка с бабушкой.

Они нам не помогут? Это вовсе на них не похоже. Я мало что знала о бабушке с дедушкой, помнила их очень смутно, но та женщина, что обнимала меня сморщенными руками, и мужчина, выдвигавший изо рта вставную челюсть, как ящик под кассой, чтобы меня рассмешить… Они-то уж точно должны нам помочь. И мой папа. Мой папа, конечно, не бросит меня в беде.

Папа. Папочка. Папа. Я совершенно его не пом-

нила. Я была совсем маленькой, когда мама меня забрала. И, насколько я знаю, он ни разу не попытался меня вернуть.

Иногда я мечтала о нем, там, в ашраме. Я не раз представляла, как человек, чьего лица я не помню, забирает меня от матери. (Точно ли это были мои собственные фантазии или мне навязала их мама, когда говорила, что я всегда хотела от нее сбежать, всегда хотела сделать ей больно?)

Папа был для меня неизвестной величиной, и иногда я легко поддавалась любым убеждениям.

— Они пытаются нами командовать, как тираны, но я им не позволю, — сказала мама. Уголки ее глаз покраснели, ее дыхание пахло вчерашним бананом. — Я о тебе позабочусь. Мы справимся сами. Ты же мне доверяешь?

Мне хотелось кивнуть, сказать что-то в ответ, но я не стала ничего говорить. Или, может быть, не смогла. Теперь я уже сомневаюсь, что поняла тогда этот вопрос. Доверяю ей в чем? Разве у меня был выбор, разве я знала что-то другое?

Мы жили в клубе. Иногда в помещении, иногда во дворе под открытым небом. Я притащила с улицы бродячего пса, которого назвала Свечкой, потому что кончик его хвоста был похож на обгоревший фитиль. Я оставила его с нами, чтобы он

гонял земляных крыс, по ночам выходивших из нор на клумбах.

Мама занялась попрошайничеством. Я была уже не такой маленькой, чтобы вызывать сострадание в сердцах прохожих, и мама велела мне просто стоять у ворот. В первый день мы узнали, что у уличного попрошайничества есть свои правила и законы, что определенные улицы и кварталы «закреплены» за определенными женщинами и детьми, и, если ты посягаешь на их территорию, это считается объявлением войны. У тех, других нищенок часто недоставало зубов, пыль накрепко въелась в их волосы, они говорили на диалекте маратхи, которого я никогда раньше не слышала. У них были проворные, цепкие руки и быстрые ноги. Они сами были крикливыми и настырными, и мама строго-настрого мне наказала никогда не смотреть им в глаза. Они были совсем не такими, как мы. Они выглядели иначе, пахли иначе. Но с течением дней эта разница постепенно стиралась.

Члены клуба, которые знали нас лично, которые знали бабушку с дедушкой, смущались при встрече, не понимая, как реагировать на наши мольбы. Кто-то проходил мимо, прикрывая ладонями глаза своим детям. Кто-то смеялся и трепал

меня по волосам, словно это была какая-то шутка. Все смотрели на нас с отвращением: из-за того, что они знали о маме. И еще потому, что мы с ней служили наглядным примером, как легко можно скатиться в пропасть. Однажды вечером мама поднесла руки к лицу, сложив из пальцев подзорную трубу. Заглянула в нее и сказала:

— Смотри туда.

Я посмотрела, но увидела только обычную улицу. Свечка лежал на спине лапами кверху. Мимо прошла женщина в фиолетовом сари.

— Мир существует только до тех пределов, которые видимы глазу, — сказала мама. — Что вверху, что внизу, и это нас не касается. Все, что нам говорили раньше, совершенно неважно.

Я смотрела прямо перед собой. На все, что так или иначе попадало в мое поле зрения. Чьи-то задницы, чьи-то руки. Пара сидит на скамейке, чего-то ждет. У дороги валяется куча металлолома. Девушка сидит в машине, прижавшись щекой к окну. Я обернулась к маме и увидела, что она плачет.

Я помню, как я спала сидя, прислонившись к воротам, и просыпалась, лежа головой на маминых коленях. Но не помню, чтобы я голодала. Охранник носил нам еду на тарелках и свежую

воду. Уже потом я узнала, что мой отец договорился с администрацией клуба, чтобы меня регулярно кормили. Теперь я уже и не вспомню, сколько времени мы так прожили. Мама всегда была рядом. Не было никаких правил, никаких домашних обязанностей, никаких расписаний, которые следовало соблюдать. Я не мылась, не чистила зубы, покрывшиеся плотным налетом. Я спала в обнимку со Свечкой, уткнувшись носом в его шелудивый бок. Я наблюдала, как в его клочковатой шерсти копошатся крошечные насекомые, и трогала гнойные язвы, которые мама называла коростой. Вскоре я стала чесаться, как Свечка, и даже внешне мы были похожи, словно я потихонечку превращалась в него, и я знала, что встретила члена своей семьи.

Однажды утром, в такую рань, что охранник в открытую спал на стуле у входа, папа приехал за нами на своей грязно-белой «контессе».

Он выглядел так же, как выглядит и сейчас: взрослый мужчина с черной щетиной, что пробивается на щеках уже через пару часов после бритья, — но чуть тоньше, стройнее и востроносее. Он был совсем не похож на Бабу или на кого-то из мужчин, которых мне довелось видеть в ашраме. У него были чистые уши, из ноздрей не

торчали пучки волос.

Он придерживал дверцу открытой. Мама медленно встала и дернула меня за руку. Мы уселись на заднее сиденье. Дверца захлопнулась.

Папа ни разу не обернулся, не посмотрел на меня. Я с восхищением глядела ему в затылок. Он не сказал маме ни слова. Он включил радио. Когда мы отъезжали, я окликнула Свечку, и он мгновенно вскочил. Я видела, как мышцы его задних лап напряглись под свалявшейся шерстью. Пес рванулся за нами вдогонку, но тут же остановился и принялся чесаться.

* * *

Никто не сказал, что мы выглядим как запаршивленные попрошайки. Никто не расспрашивал нас об ашраме. Вскоре я поняла, что в доме бабушки и дедушки запрещено произносить имя Бабы. Бабушка нас ждала: приготовила горячий завтрак, заварила большой чайник чая. Молоко покрывал толстый слой густых сливок, вся еда истекала топленым маслом.

Папа привез нас сюда и теперь неуверенно топтался в дверях — водитель, носильщик, который исполнил свою работу и готовится спешно отбыть восвояси.

Бабушка сидела, скрестив руки на груди. Ее пышные ягодицы расплющились на сиденье ярко-красного полукруглого дивана.

— Надеюсь, твоя истерика закончилась, — сказала бабушка. Ее голос эхом разнесся по дому. Я не поняла, к кому именно она обращалась, пока не увидела мамино хмурое лицо.

— Антара, — сказала она. — Ты помнишь бабушку? Иди сюда, девочка.

Я прошла вперед по гладкому полу, выложенному пестрой плиткой, но остановилась, когда бабушка вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась, сотрясаясь всем телом. Я растерянно обернулась к папе и маме, стоявшей в тени. Мама махнула рукой, мол, иди дальше, не стой столбом. Я заметила цепочку пыльных следов, тянущихся за мной, и только теперь обратила внимание, какие грязные у меня ноги. Ноготь на одном пальце был совсем черным, кожа вокруг него кровоточила.

Мне приготовили горячую ванну. Меня мыла служанка, которую я не видела раньше. Ее волосы были собраны в тугой узел высоко на макушке, простое хлопчатобумажное сари подобрано так высоко, что открывало щиколотки и даже часть голеней. Когда она намыливала мне лицо, я

принюхалась к ее рукам. Чеснок, чили, мыльная пена. От Кали Маты пахло почти точно так же. После ванны служанка усадила меня у себя между ног и принялась перебирать мои волосы прядь за прядью в поисках посторонних форм жизни.

Бабушка заглянула к нам в ванную.

— Bai[1], — сказала она служанке, — yeh amchi beti hai[2].

— Kasa hai[3], — проговорила служанка, обращаясь ко мне.

— Солнышко, это Вандана, — сказала бабушка.

Вандана заботилась обо мне вместо мамы, потому что мама целыми днями спала или ругалась с дедушкой и бабушкой. Даже сквозь плотно закрытую дверь мне было слышно, как они кричат друг на друга, но крики вмиг прекращались, когда мы выходили обедать в город. Мама упорно смотрела в свою тарелку, ковырялась в ней вилкой и делала вид, будто нас вовсе нет рядом.

Папа часто бывал у нас по вечерам, заходил по дороге с работы домой. Они с мамой сидели

---

[1] Примечания: 1
Служанка, горничная (*маратхи*).

[2] Примечания: 2
Это моя внучка (*маратхи*).

[3] Примечания: 3
Привет (*маратхи*).

в гостиной. Бывали дни, когда они не говорили друг другу ни слова. Бывали дни, когда они о чем-то шептались, иногда даже срывались на крик. Я пряталась под столом, хотя была уже не такой маленькой, чтобы вести себя так по-детски. Я пыталась читать по отцовским губам, но его загораживала от меня ножка стола.

Он ни разу не предложил нам вернуться к нему. Иногда мне казалось, что он смотрел на меня точно так же, как смотрел на маму. Однажды он пришел не один. Тот, другой человек достал из портфеля стопку бумаг. Мама бегло их просмотрела и поставила свою подпись.

У меня были вопросы, которые я не решалась задать никому: «Почему мы живем у дедушки с бабушкой? Теперь так будет всегда или мы все-таки вернемся к папе?» Мне казалось, что детям положено жить с родителями, а муж и жена должны быть неразлучны, даже если питают друг к другу взаимную неприязнь.

После обеда Вандана водила меня в клуб, на детскую площадку. Всегда брала с собой что-нибудь перекусить. Несла судочек с едой в одной руке, другой держала за руку меня. В кабинке моторикши она учила меня говорить на маратхи. Она родилась в деревне, названия которой я даже не

знала. Вандана смеялась над моим произношением, я краснела и не хотела пробовать еще раз, но мне самой даже в голову не пришло посмеяться над ней, когда она сказала, что не умеет читать и писать. Наверное, потому, что я сама не умела ни читать, ни писать. У нас был уговор: она учит меня маратхи, я учу ее буквам английского алфавита. Мне не нравилось на детской площадке, но, когда Вандана раскачивалась на качелях, взлетая все выше и выше, все ближе к небу, мне хотелось к ней присоединиться.

Иногда она задирала сари чуть ли не до колен и пропускала его между ног наподобие штанов. Подметая полы, она сидела так низко на корточках, что ее ягодицы почти касались пола. Но все-таки не касались. Она могла оставаться в таком положении очень долго. Мне казалось, что целую вечность. Однажды я попыталась засечь время, но его прошло столько, что я успела забыть, что мне надо смотреть на часы. У нее не хватало нескольких передних зубов, и, когда она улыбалась, ее десны зияли розовыми пустотами. Каждое утро она приносила свежие зеленые перцы чили и готовила поху мне на завтрак.

Однажды вечером, когда она собралась уходить, я вышла в прихожую следом за ней. Она

привязала ключи к бечевке на поясе и взяла свои сандалии, чтобы надеть их в коридоре, уже за дверью.

— Пока-пока, — сказала она, улыбнувшись мне своей беззубой улыбкой. Мне было слышно, как мама тихонечко напевает у себя в комнате. Я дождалась, когда Вандана закроет дверь, потом выскользнула из квартиры и пошла вниз по лестнице следом за ней, уверенная, что она меня не заметит, и вся внутренне ощетинилась, когда она обернулась ко мне и спросила: — Э… Ты куда собралась?

Я сказала, что пойду с ней.

— Куда ты пойдешь?

— К тебе домой. Познакомиться с твоим мужем.

Она посмотрела на меня, склонив голову набок.

— Ко мне нельзя. Возвращайся наверх. Мама будет тебя искать.

Марли, лифтер, наблюдал за нашей перепалкой и тихонько посмеивался.

— Отведи ее домой, — сказала ему Вандана на маратхи.

— Нет! — крикнула я. У меня в животе что-то скреблось, и я напрягла мышцы, пытаясь унять

это щекотное ощущение. — Я хочу пойти с тобой. Ты *bai*, служанка. Ты должна меня слушаться. Я твоя хозяйка.

Вандана сморщила лоб, ее глаза превратились в черные щелочки.

— Ты никто. Даже твоя мать тебя не замечает.

Она положила руку мне на затылок и втолкнула в лифт. Я вскинула руку и ударила ее по щеке. В ответ она тоже дала мне пощечину.

Бабушка открыла нам дверь. Я заливалась слезами, Вандана хмурилась. На ее лиловой блузке выступили пятна пота.

— Что случилось? — спросила бабушка.

— Она увязалась за мной. Хотела пойти ко мне домой. — Вандана выпустила мою руку и подтолкнула меня вперед. Мама вышла в прихожую.

— К вам домой? — Мама посмотрела на меня. Ее щеки пылали. Я внутренне сжалась, испугавшись, что она меня ударит, но она обернулась к Вандане и заорала: — Надо быть осторожнее!

Мама затащила меня в квартиру, но они продолжали кричать друг на друга, и вскоре я перестала понимать, что именно они кричали. Вандана хлопала себя по лбу и тыкала пальцем на маму. Больше она не пришла на работу, и мама сказала

бабушке, чтобы с этих пор в доме были лишь слуги-мужчины.

После этого случая мы с мамой стали спать вместе, и она разрешала мне по вечерам сидеть с ней на балконе и наблюдать, как она курит в темноте. Именно тогда я впервые поняла, какая красивая у меня мама. Докурив сигарету, она отдавала окурок мне и учила меня запускать его щелчком далеко-далеко, прямо в поток машин на дороге.

Иногда она ходила курить на улицу и брала меня с собой. Мы проходили мимо обветшавшего здания отеля, которым владел мой дедушка. Фасад в стиле ар-деко, облезлая краска на стенах. На соломенных циновках, расстеленных на земле, сидели люди целыми семьями. Однажды мы видели пьяного, который спал прямо на тротуаре и что-то бормотал во сне. Мы пару минут постояли рядом, пытаясь понять, что он бормочет. Чайвалла, уличные продавцы чая, потихоньку сворачивали торговлю или дремали, прислонившись к фонарным столбам, в ожидании вечернего наплыва прохожих. Помню их потные лица, плотно сжатые челюсти, налитые кровью глаза, глядящие мимо нас. Мы неторопливо брели по улице, разморенные душной ночью. Вдоль тротуара сновали крысы, рылись в мусоре,

оставшемся после долгого дня. Ноздри щекотал дым и запах гашиша от самокрутки босоногого наркомана, который схватился за яйца, увидев маму. Одинокий хиджра, блуждавший по зданию вокзала, тихонько постучал маму на плечу и протянул раскрашенную хной руку. Мама кусала сухие губы. Она никогда не была суеверной, но ей все равно не хотелось получить проклятие хиджры. От проклятия можно откупиться деньгами, но у нас не было денег. В кармане маминой курты нашелся тюбик красной помады, и она отдала его хиджре. Тот взял подношение, произнес слово благословения и пошел прочь. На табло с расписанием поездов шелестели сменявшиеся значки, совершенно мне непонятные.

Я плохо помню свои тогдашние чувства к маме, потому что не знаю, как их назвать. В ашраме я жила без нее и тосковала по ней, но теперь, когда мы были вместе, во мне поселился тревожный страх — ощущение, что я ошибалась, и, может быть, мне и вовсе не хочется, чтобы она была рядом, может быть, она мне не нужна, — но уже в следующее мгновение меня вновь накрывало волной безнадежного, горького понимания, с которым я прожила всю свою жизнь, что без нее все превращается в ад и труху. И даже теперь,

когда я живу без нее, и хочу жить без нее, и понимаю, что именно из-за нее я всегда ощущала себя несчастной, у меня временами сжимается сердце от той неизбывной детской тоски по мягкому белому хлопку, обтрепавшемуся по краям.

После ашрама с мамой что-то произошло, что-то в ней надломилось. Все это видели, все это знали, но мне никто ничего не объяснил. Она целыми днями спала. Спала так, словно до этого не спала много лет. А когда не спала, то лежала, бессмысленно глядя в потолок.

Позже мы выяснили причину: днем она отсыпалась, потому что по ночам названивала моему папе. Она узнала, что он собирался жениться снова, и звонила ему поздно ночью, чтобы высказать все, что она о нем думает. Если трубку брал кто-то другой, она обрывала звонок и перезванивала через пару минут. Иногда я сидела у нее на коленях, и со временем она разрешила мне набирать номер, а сама судорожно прижимала к уху телефонную трубку. Я до сих пор помню его наизусть, этот номер, хотя сама звоню редко. Когда об этом узнала бабушка, она отвела меня в сторонку и велела сразу же ей сообщать, если мама будет вести себя странно. Я уточнила, что именно считается странным.

Бабушка тяжко вздохнула:

— Не знаю, чего она хочет добиться.

Ответ на этот вопрос она получила два дня спустя, когда папа приехал к нам и вручил маме толстый конверт с деньгами. Мне до сих пор неизвестно, то ли он сам так решил из чувства ответственности, то ли мама все-таки нашла способ вытянуть из него деньги и он лишь уступил вымогательству, но в тот день у меня впервые возникло осознанное желание бросить маму и уйти с папой. Я наблюдала за ним, за этим высоким, долговязым мужчиной с курчавыми волосами. Когда он уже собрался уходить, наши взгляды встретились на долю секунды. Он не улыбнулся, и в его глазах промелькнула тревога, когда он смотрел на меня из тени дверного проема.

Я спросила у бабушки, когда мы с мамой вернемся в дом к папе.

— Твоя мама ушла из этого дома давным-давно, — сказала она. — Время идет, все меняется. Теперь в этом доме будет хозяйничать другая женщина.

Я была совсем маленькой и мало что понимала в происходящем, но кое-что все-таки поняла: мои родители больше не женаты и папа нашел себе новую жену. Точно, как Баба. Я помнила, как

Кали Мата уговаривала маму остаться, как она говорила, что ашрам — это большая семья, где ей всегда будут рады. Я знала, что мама могла бы остаться в ашраме и стать такой же, как Кали Мата, брошенной, но почитаемой. Я подумала, что, может быть, и сейчас, в ситуации с папой, у нее тоже есть выбор, но потом вспомнила ее лицо в день, когда мы ушли из ашрама — вспомнила ее взгляд: грусть пополам с отвращением, — и поняла, что она никогда не смирится с появлением новых жен.

Я начала понимать, какой хаос творится в ее душе. Начала понимать, что мы с ней очень разные. Да, временами я тоже срывалась и билась вдребезги, но мне всегда доставало сил собрать себя воедино.

Я спросила у бабушки, что такое развод. Она терялась при обсуждении таких вопросов, но все-таки попыталась мне объяснить.

— Если муж и жена больше не муж и жена, значит ли это, что папа больше не папа? — спросила я.

Бабушка долго смотрела мне прямо в глаза, а потом разрешила себе улыбнуться.

— Нет, — сказала она. — Совершенно не значит.

Я ждала у подъезда, судорожно сжимая ручку синего чемоданчика. Мне заплели аккуратную косичку, такую тугую, что волосы больно тянули кожу. Бабушка пригладила вазелином мои непослушные брови. Она вышла к подъезду вместе со мной. Она сказала, что мне надо быть хорошей девочкой.

— Постарайся, чтобы он тебя полюбил.

Ее слова прозвучали как предостережение, что у меня будет всего один шанс.

Мама не стала меня провожать.

Папа приехал на своей «контессе». Он был человеком опрятным, любящим чистоту, и бережно относился к деньгам. Его машина, хотя и старая, была чисто вымыта и содержалась в отличном состоянии.

Он сказал:

— Надеюсь, ты взяла достаточно вещей, чтобы хватило на всю неделю.

Я взяла даже чуточку больше. Собрала все, что не хотела оставлять дома.

Не помню, сколько ступенек было на лестнице, что вела к его дому, но чемодан я тащила сама. Дверь была черной, дверная ручка — золотой. Рельефный рисунок на металлическом стержне, отлитом в виде колонны старинного храма,

почти полностью стерся от рук за долгие годы использования. Дверной звонок был таким тихим, что меня подмывало нажать на кнопку еще раз, после папы. Но я просто стояла, ждала — и удивилась, когда дверь открылась. Нас встретила новая папина жена. У нее на руках поблескивали браслеты с недавней свадьбы. Явно великоватые для ее тонких запястий, они, наверное, принадлежали моей второй бабушке, папиной маме. Стекла ее очков были заляпаны мутными отпечатками пальцев. Папа, кажется, этого не заметил. Он вошел в дом, поздоровался с новой женой, а я осталась стоять на крыльце, наблюдая за ними. Прикоснувшись ладонью к наружной стене, я переминалась с ноги на ногу, дожидаясь, когда они оба вспомнят обо мне. В прихожую вышел слуга и забрал у меня чемодан, буквально вырвал его из моих судорожно сжатых пальцев.

Папина новая жена наклонилась ко мне и обняла. Я уткнулась лицом в ее волосы и улыбнулась в это облако пышных кудряшек. Пушистое, мягкое, оно пахло кокосовым маслом. У нее за спиной, в глубине коридора, топтались служанки и наблюдали за нами.

Меня провели в комнату, где обычно спала моя бабушка, папина мама. Сейчас ее не было в горо-

де, она уехала в Дели навестить одну из дочерей. В комнате было сыро, пахло потом и старой кожей, но никто этого не замечал. Мой чемодан лежал на кровати, уже открытый. Слуга разбирал вещи, раскладывал по стопкам мое детское бельишко, переносил стопки в шкаф. Я прислонилась к доске в изножье кровати и уставилась на вентилятор, стоявший передо мной, как распахнутый рот.

Утром папа ушел на работу, съев на завтрак банан и запив его молоком. С вечера я завела будильник, как меня научила бабушка, чтобы проснуться пораньше и позавтракать вместе с папой. Я тоже съела банан, тоже выпила молока. Я пыталась хоть что-то сказать, но, как только папа ушел, у меня жутко скрутило живот. Я целый день провалялась дома, в компании слуг и сторожевого пса, который с лаем несся к воротам каждый раз, когда мимо проезжали машина или велосипед.

Я взяла с собой только самые лучшие платья. Я ела все, что готовила папина кухарка, ничего не оставляла на тарелке и не просила сладкого шаккар-роти после обеда. После ванны я причесывалась сама, пыталась сама заплетать себе косу, хотя не видела себя со спины. Я не позвала на помощь, когда не сумела найти выключатель

газовой колонки. В ванной не было мыла, зубная паста жгла мне язык, но я никому ничего не сказала. Я стала изобретательной после ашрама; я знала, как обходиться малым.

Почти всю неделю я просидела на верхней ступеньке лестницы, глядя вниз сквозь перила. Лестница в два изгиба напоминала мне змею, которую однажды поймали в ашраме. Из кухни всегда доносился запах чеснока. Пол из темного мрамора был ужасно холодным, и, когда у меня замерзала попа, я тихонько вставала и ходила туда-сюда по коридору, чтобы согреться. Я забыла взять тапочки и ходила по дому в носках. Пол был не только холодным, но еще и очень скользким: приходилось ходить маленькими осторожными шажками. А потом я поняла, что по нему лучше скользить, как по льду. Так гораздо приятнее и веселее. Я представляла себя фигуристкой, хотя никогда в жизни не каталась на коньках и не знала, как это бывает. Когда мне надоедало кататься, я возвращалась на свое место на верхней ступеньке, откуда была видна только площадка пролетом ниже, где иногда появлялись макушки людей, проходивших по лестнице — служанок, единственного мужчины-слуги, папиной новой жены, которая летала по дому, как вихрь, и часто

отлучалась на целый день.

Мне хотелось ей угодить. Хотелось что-нибудь для нее сделать. Я сама застилала свою постель и давила тараканов в аптечном шкафчике в ванной.

На пятый день в папином доме я увидела, как его новая жена тащит по коридору три больших чемодана: вся запыхавшаяся, тонкие руки белые от напряжения. Она остановилась позвать слугу, подняла голову и увидела меня. Ее глаза широко распахнулись, словно она обо мне совершенно забыла и вспомнила только сейчас.

— Мы с твоим папой едем в Америку, — сказала она. — Минимум на три года. Он просил тебе сообщить.

На передвижном барном столике у нее за спиной стоял хрустальный графин, доверху наполненный виски янтарного цвета. Солнечный свет, проходящий сквозь ограненное стекло, искрился над ней, как корона.

Вечером в гости пришел папин друг — познакомиться с новой женой и дочерью. Его звали дядя Каушал. Он посмотрел на нее, посмотрел на меня, на секунду замялся, не уверенный, с кем поздороваться в первую очередь. Наконец выбрал жену, поклонился, сложив ладони перед собой, сказал,

что безмерно счастлив с ней познакомиться. Потом обнял меня, легонько ущипнул за щеку и за подбородок.

Мы расселись в гостиной, где был накрыт стол. Папа принес графин с виски. Серебряная посуда сверкала, как россыпь сокровищ. Мужчины выпили виски, подняв бокалы за здоровье друг друга. Мы с новой женой пили фруктовый пунш. Большой массивный бокал смотрелся странно в папиной худой руке. Казалось, что папе приходится напрягать руку, чтобы удержать тяжесть напитка.

Из кухни принесли пакору, самосы и кюфты. Слуга протянул угощение дяде Каушалу, но папа сделал мне знак взять поднос.

— Предложи всем еду, — сказал он.

У меня слегка дрожали руки. Поднос, казавшийся легким в руках слуги, оказался довольно тяжелым. Я протянула его дяде Каушалу. Он рассмеялся, кивнул, отобрал у меня поднос, поставил его на стол рядом со своим бокалом и снова стиснул меня в объятиях. Его плечо пахло потом и горчичным маслом. Он погладил меня по затылку и сказал:

— Какой милый ребенок!

Он усадил меня к себе на колени. Обнял за

талию одной рукой. Так я и сидела весь вечер, пока папа рассказывал о своих планах насчет Америки, подробно описывал квартиру, которую собирался там снять, шутил, что придется померзнуть в суровом климате.

Я до сих пор не могу понять, почему папа сам не сказал мне об отъезде. Почему поручил своей новой жене сообщить мне об этом? Знали ли мама и бабушка, что он уезжает? В моем секретном блокноте эти вопросы записаны в том же разделе, где я отмечаю все то, чего не знаю о собственных родителях. Я не знаю подробностей их развода. Я мало что знаю об их жизни в браке. Они не любят об этом рассказывать. Возможно, на то есть причины. Каждый уклончив по-своему, но эта уклончивость произрастает из одного корня. Будучи замужем за американцем, я иногда забываю, что есть вещи, которые не обсуждаются даже в близком кругу. Но все эти вопросы стали меня волновать уже позже, гораздо позже. Тогда я вообще не задумывалась о причинах. Мне было грустно, немного обидно, но мне казалось вполне естественным, что папа мне ничего не сказал. Мне казалось нормальным и даже правильным, что он уезжает.

Ровно через неделю, день в день, дедушка при-

ехал меня забирать. В тот день я закрыла все мысли о папе в самом дальнем чулане у себя в голове, в крошечной комнатке, не требующей внимания.

* * *

— Кто же так надевает бюстгальтер?!

Пурви наблюдает, как я одеваюсь. Она приехала раньше, чем я успела принарядиться, и бесцеремонно вломилась ко мне в спальню.

Сейчас ранний вечер, небо светло-лиловое. Я отворачиваюсь от Пурви. Я устала, мне трудно скрывать свои мысли. Трудно делать непроницаемое лицо.

Ну вот, я готова. Мы выходим в гостиную, где нас ждут мужья.

Муж Пурви, как всегда, вежлив и обходителен. Мы приобнимаем друг друга за плечи, он похлопывает меня по спине. Он любит пить виски под трансляции крикета — по телевизору как раз идет матч, собственно, он его и включил, — и от него всегда пахнет антисептиком для рук.

Мы садимся за стол. Я позаботилась, чтобы был большой выбор блюд — специально для мужа Пурви, который любит разнообразие за столом. Соан-папди, кантола, капуста в нескольких вари-

антах. Жареные куриные ножки, предварительно вымоченные в маринаде с чесноком, чили и кориандром. Рядом с Дилипом — гора дахи-алло. Он отворачивается от блюда с куриными ножками и от меня.

Муж Пурви родился и вырос в Пуне, отучился в университете в Бомбее, вернулся домой и устроился на работу в отцовской фирме. Их компания построила первый в городе торговый центр, ярко-красное здание — их фирменный цвет. Теперь их торговые центры открываются по всей стране, это целая сеть. Они сдают площади под крупные розничные магазины самых известных мировых брендов. Именно так муж Пурви представляется новым знакомым: как состоятельный бизнесмен из почтенной династии коммерсантов. Говоря об истории своей семьи и об их достижениях, он сразу обозначает, как его следует воспринимать и каким он желает запомниться собеседнику, — и в конце каждой фразы многозначительно встряхивает свой бокал, гремя большим кубиком льда.

Он спрашивает у Дилипа, обращал ли он внимание на блокировочное устройство в его машине. Дилип отвечает нет, и муж Пурви говорит, что после ужина мы непременно пойдем и посмотрим.

— Оно было украшено бриллиантами, — гово-

рит он. — Самыми что ни на есть настоящими. Но потом мы их сняли. Это все-таки небезопасно. У нас слишком много шоферов.

Пурви ломает чапати на маленькие кусочки и рассыпает их по тарелке.

Ее муж предлагает на следующей неделе сходить всем вместе поужинать в ресторане нового пятизвездочного отеля.

— Там отменная кухня, — говорит он.

Я напоминаю, что мы уже были в этом ресторане. Как раз таки ужинали вчетвером.

Муж Пурви салютует мне бокалом и хвалит куриные ножки. Я говорю, что их готовила не я.

Он рассказывает о последней покупке недвижимости, совершенной его отцом. Это участок в тихом приятном квартале неподалеку от дома, где живет моя бабушка. Его отец собирался построить на этом участке дом своей мечты. Но местные жители подали жалобу в муниципалитет, поскольку дом — слишком большой и высокий — загораживал свет жителям близлежащих домов. В итоге строительство пришлось прекратить.

— Мой отец, — говорит муж Пурви, — очень расстроился.

Он уныло склоняет голову.

Пурви тихонько откашливается.

Я выражаю надежду, что его папа все же построит дом своей мечты. Когда-нибудь, где-нибудь.

Муж Пурви смеется и протягивает опустевший бокал Дилипу, чтобы тот долил ему виски.

— За моего папу можно не волноваться, — говорит он.

Я хочу объяснить, что нисколечко не волнуюсь за его папу, а просто пытаюсь быть вежливой и поддержать разговор. Мое беспокойство — обыкновенная светская условность. Улыбка, играющая на губах и не достигающая глаз. Но я понимаю, что ему не нужны эти подробности, что он использует мои реплики исключительно для того, чтобы продвигать свой рассказ.

Он говорит, что его отец водит тесную дружбу со многими представителями местных властей. Начальник городской полиции регулярно обедает у него дома. Чиновники из отдела жилищного строительства, которые осмелились выступить против его проекта, уже сто раз пожалели о своем недальновидном решении. И дорого заплатили за свою глупость. Муж Пурви не раскрывает подробностей постигшего их наказания, лишь загадочно улыбается и говорит, что его поразила папина изобретательность и что ему самому

предстоит еще многому научиться.

Я молчу, лишний раз убедившись в своей правоте. Моя реплика была просто крошечной кочкой на скоростной магистрали его рассказа.

Меня вдруг пробивает пронзительное ощущение быстротечности бытия: жизнь коротка, время уходит, и его остается все меньше и меньше. Я устала от них обоих, от Пурви и ее мужа. Даже не то чтобы устала, но во мне нарастает какое-то яростное раздражение. Я хочу, чтобы они ушли, чтобы их запах выветрился из моего дома, чтобы их размноженные в отражениях тела исчезли из моих зеркал. В прошлом году мы все перепились джином и разругались вусмерть. Муж Пурви так разъярился, что грозился прижечь мне лицо сигарой. На следующий день он сделал вид, будто ничего этого не было.

Интересно, что будет, если я попрошу их уйти? Какой новый сюжет разовьется из этой просьбы? Что они мне ответят? Обратятся ли к Дилипу за поддержкой? О чем они будут говорить в машине по дороге домой? Что они станут рассказывать обо мне нашим общим знакомым?

Во мне нарастает истерический смех, но я глотаю его, точно ком, вставший в горле, и давлюсь слюной. Все с тревогой глядят на меня, наверное,

боятся, что меня вырвет. Боятся увидеть, как та еда, что мы ели за ужином, выйдет наружу, пережеванная и частично уже переваренная.

После ужина мужчины снова включают крикет. Пурви топчется перед экраном и издает радостный вопль, когда отбивающий индийской сборной делает сотню. Потрясая в воздухе кулаками, она оборачивается к мужу, и я вижу, что между ними существует некая глубинная общность, одна на двоих.

Муж Пурви наливает себе еще виски и хлопает Дилипа по плечу:

— Я собираюсь открыть новый бизнес.

Он наклоняется поближе к Дилипу и говорит, заговорщически понизив голос. Он уверен, что фармацевтические компании доживают последние дни. Согласно новейшим исследованиям, почти любую болезнь можно вылечить либо куркумой, либо марихуаной. Недавно он был в Китае и посетил лабораторию, где выращивают лекарственные грибы.

— Мне кажется, это будет прибыльный бизнес.

Он спрашивает у меня, бывала ли я в Бутане. Я отвечаю, что не была.

Он говорит, что мне обязательно надо туда поехать. Там происходит много загадочного, но

настоящие чудеса творятся в горах, выше линии роста деревьев, где воздух разрежен и произрастают наиболее целебные растения.

Он говорит, что когда он туда соберется, то возьмет и нас. Он получил приглашение от племени местных кочевников. Эти низкорослые люди, практически лилипуты, разводят яков на горных склонах. Если нам повезет, они возьмут нас на поиски хитроумных грибов, паразитирующих на гусеницах определенных видов бабочек. Гусеница, зараженная спорами, начинает ненасытно питаться, пожирая все на своем пути, и тем самым питает гриб, который растет и со временем полностью поглощает тело носителя. Эти грибы, кордицепсы, обладают уникальными целебными свойствами, но их очень трудно добыть.

Он улыбается Пурви и опять оборачивается к Дилипу.

Китайцы придумали способ, как выращивать кордицепсы в лабораторных условиях, причем с точно такими же свойствами, как у натуральных грибов, которые можно найти лишь на горе Кайлас и больше нигде. Муж Пурви говорит, что мы можем сделать хорошие деньги, если вложимся в этот бизнес.

Пурви хлопает в ладоши:

— Что скажешь, Дилип?

Дилип кивает и одновременно качает головой:

— Даже не знаю. По-моему, это как-то не очень по-вегетариански.

Пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, муж Пурви подходит к моему креслу и наклоняется надо мной. Я отворачиваюсь, чтобы он не дышал мне в лицо.

— В Америке обитает форель, — доверительно сообщает он мне. — Краснобрюхая, глубоководная форель. Особи, зараженные паразитами определенного вида, поднимаются к самой поверхности, что обычно не свойственно здоровым рыбам. Там, на поверхности, солнечный свет отражается от их красных чешуек и привлекает птиц. Птица ест рыбу, хитренький паразит выходит наружу вместе с птичьим пометом и попадает на землю, где происходит его размножение. При умном использовании паразиты могут стать самым опасным оружием на Земле. Генетически модифицированный паразит превращает носителя в зомби.

В тот вечер я неподвижна в постели. Лежу как бревно. Дилип долго плещется в душе, приходит в спальню, шлепает мокрыми ногами по полу. Окна закрыты от комаров, которые пробудятся на

рассвете. Дилип молча ложится рядом со мной. Мы с ним не разговариваем уже несколько дней.

Сегодня ночью молчание ощущается как живое. Я не уверена, что именно я начала эту игру в молчанку, но вообще это очень на меня похоже. Сомнения копятся, погребают меня под собой; может быть, мы с Дилипом никогда не были так близки, как мне казалось. Я искренне верю, что если мы не возобновим прерванный разговор, если мы никогда больше не вспомним об этой проблеме, то проблема исчезнет сама собой.

Если мы не будем говорить о маме, она попросту перестанет существовать.

То же самое касается и найденной им фотографии, и сопровождающей ее лжи.

Я надеюсь, хотя и боюсь.

Но что-то еще разрастается в этой комнате, в этой постели. Я не знаю, как назвать это чувство. Я пытаюсь представить, о чем думает Дилип и что он хочет сказать.

На следующий день звонит мама Дилипа. Я чуть не поддаюсь искушению не брать трубку.

— Я беспокоюсь за вас двоих, — говорит она. — А теперь ты еще хочешь, чтобы твоя мама жила у вас? Думаешь, это разумно? Не лучше ли ей оставаться в собственном доме, может быть, с

круглосуточной сиделкой? Ты же работаешь дома? Ты сможешь нормально работать, если она постоянно будет рядом?

Через несколько дней, когда мы с Дилипом опять разговариваем друг с другом и прошлое сжимается в крошечный, вполне посильный комочек, я рассуждаю вслух и пытаюсь понять, как именно пережитое потрясение отразилось на нем, как оно отразилось на мне и что делать дальше: как мы будем мстить и как искупим свою вину.

Дилип безмолвствует.

Я говорю, что подобные вещи не всегда происходят осознанно, что иногда наши действия определяются неким внутренним уравнением, к которому мы бессознательно прибегаем, причем постоянно. Какой бы простой ни казалась задача, каким бы явным и очевидным ни было решение, в итоге всегда получается дробь, а не целое число. Всегда есть остаток, частица чего-то недосказанного, недопонятого и истолкованного превратно.

Дилип трет глаза и говорит, что он не понимает такой неприязни.

1989

Бабушка мне рассказывала, что мама сама проколола себе нос тупой булавкой и завалила экзамены на аттестат о неполном среднем образовании, причем не единожды, а дважды. Единственное хорошее воспоминание, которое осталось у бабушки о ее собственной дочери: как во время войны 1971 года ее девочка Тара, тогда еще совсем юная и послушная, помогала ей обклеивать окна плотной оберточной бумагой, чтобы стекла не побились и никого не поранили.

Помню, как я сидела, пристроившись между бабушкиных раздвинутых коленей, и она лила масло мне на голову. Масло щекотно текло по щекам и по шее. Бабушка втирала его мне в волосы, плотно сжимая коленями мои бока. Масла было так много, что оно капало на ее чуридар и даже на пол.

— Твоя мама никогда не сидела вот так спокойно. Она постоянно вертелась и возмущалась, что ей не нравится запах. Ты только представь. Я ей говорила: оставишь на ночь, а утром смоешь. Она никогда не слушала. И посмотри, что теперь

стало с ее волосами. Но ты сама знаешь маму. С ней трудно.

Я знала, что мое молчание будет воспринято как знак согласия, но то было время ненадежных союзов между всеми нами.

Мне кажется, именно бабушка была инициатором моей кратковременной ссылки в монастырскую школу, но она отрицает свою причастность, и теперь уже ничего не докажешь. Потом, когда все закончилось, взрослые принялись дружно валить ответственность друг на друга. Дедушка заявил, что он сразу был против этой затеи, хотя я помню, что именно он вынес мой синий чемоданчик к машине в то июльское утро 1989 года.

Мы уселись в его красный «Марути 800», все вчетвером, и поехали в Панчгани. Машина еле ползла по извилистым горным дорогам, почти все время лил дождь, и за окном было мало что видно. На заднем сиденье между мной и бабушкой стоял термос и жестяная коробка с сэндвичами. Из-за постоянных крутых поворотов меня укачало. В пелене дождя за окном мелькнула фигура женщины, стоявшей по колено в грязи. Земля в Панчгани была полужидкой.

Мне объяснили, куда мы едем, только когда мы уже сели в машину. Паника всколыхнулась

внутри. Я легла поперек сиденья. Я боялась, что не смогу оставаться так долго вдали от дома. Я не взяла столько вещей. В горле опять забурлили противные пузыри — те самые, из ашрама, — они душили меня, не давали дышать, подпрыгивали на кочках вместе с машиной. На следующей кочке меня вырвало прямо на мои колени.

Дедушка открыл окна и принялся напевать мелодию из «Амара, Акбара, Антони». Бабушка взяла пачку салфеток и вычистила мое платье.

— Ты умеешь оборачивать книги в газету? — спросила она.

Мы остановились, в открытые окна повеяло горным ветром. Я вся покрылась колючими мурашками. Вонючее мокрое пятно на юбке стало как будто еще мокрее. Я выбралась из машины, зачерпнув туфлями жидкую грязь. Мама, сидевшая на переднем сиденье, быстро глянула на меня и отвернулась. Бабушка погладила меня по спине и спросила, все ли я вытошнила или еще что-то осталось. Я сказала, что осталось. Пузыри так и булькали в горле и царапали мне миндалины. Я подвигала языком, но пузыри никуда не исчезли. Тогда я засунула палец глубоко в рот и попыталась нащупать миндалины. Меня снова вырвало.

Я открыла глаза и увидела кирпичное здание с покатой крышей, частично заслоненной деревьями. Столбы ворот были украшены узорчатой плиткой в португальском стиле. Я водила пальцем по зеленым ромбам, пока дедушка беседовал со скрюченной в три погибели женщиной в белых одеждах.

— Я сестра Мария-Тереза, — сказала монахиня. При ходьбе она шумно сопела и опасно кренилась вправо. Казалось, что под просторным монашеским одеянием она прячет еще одну голову.

Внутри монастырская школа оказалась совсем не такой, как снаружи. Внутренний двор напоминал голый пустырь. Деревья росли только в дальнем его конце. По деревьям скакали маленькие обезьянки. На другой стороне, сразу за задней калиткой, начинался глубокий овраг. Вдоль дорожки, ведущей к зданию, стояли большие глиняные горшки с какими-то засохшими кустами. На плюмериях не было ни единого цветочка. Мимо прошли гуськом девочки-школьницы в синих форменных юбках и блузках. Их туфли были начищены до зеркального блеска, аккуратные косы свисали ровными линиями точно посередине спины.

— В прошлом году в дормитории был пожар, —

сказала монахиня. — Пока его ремонтируют, ученицы спят в спортивном зале.

В спортивном зале стояли кровати и шкафчики, в четыре ряда от стены до стены. Сейчас там было пусто, но вечером спальня наполнится ученицами — с их чистыми туфлями и туго заплетенными косами.

— Очень мило, — сказала бабушка и пощупала клетчатое покрывало. Мама присела на краешек ближайшей кровати. За весь день она не сказала ни слова и упорно смотрела себе под ноги. Ее плотно сжатые губы не шевелились.

Столовая располагалась в подвале главного здания и напоминала большую пещеру без окон. Меня чуть не вырвало от тамошних резких запахов.

— Я смотрю, ты не любишь рыбу, — сказала монахиня.

Пару часов спустя красная дедушкина машина умчалась прочь, подняв облако пыли. Они уехали, а я осталась. Я смотрела им вслед и представляла, что мама сейчас обернется и махнет мне рукой, мол, беги, догоняй. Я моргнула, протерла глаза, а когда снова глянула на дорогу, машина уже скрылась из виду.

Год, который я провела в монастырской школе,

стал нашей с мамой последней разлукой. После этого мы уже не расставались и много лет прожили вместе, пока я не стала гораздо старше и не ушла от нее сама, вопреки ее воле и без ее согласия — но тогда мы об этом не знали. Мы знали только о прошлом, в котором никто не считался с моим согласием и моей волей. Вернувшись в Пуну, я вошла в новый дом матери как чужая.

В монастырской школе я сразу решила, что у меня будет мало вещей: только самое важное, самое нужное — чтобы в любой момент можно было собраться и уйти, не жалея о том, что пришлось что-то оставить. Каждую вещь надо было осмыслить, определить ее приоритетность. Жизнь утратила весомую массу, необходимую, чтобы закрепиться на месте, и меня постоянно тошнило от смены давления.

Когда я распаковывала чемодан, ко мне на кровать присела худенькая девчонка в очках с толстыми стеклами. Меня всю трясло, дрожь никак не унималась. Девочка, наоборот, выглядела расслабленной и спокойной. У нее были высокие гольфы и маленький шрам над верхней губой.

— Я — Мини Мехра. Моя кровать рядом с твоей.

Мини мне объяснила, что в монастыре Святой

Агаты вся жизнь строится в алфавитном порядке. Ламба и Мехра всегда будут рядом, пока обе учатся в этой школе или пока между ними не вклинится кто-то еще с фамилией на Л или на М. Сама Мини приехала из Махабалешвара, где жила в частном доме вместе с родителями и братьями. За обедом мы тоже сидели рядом, и она мне подсказала, что рыбу можно обваливать в дале, чтобы перебить вкус. Она объяснила, что продолговатые белые шарики — это вареные яйца и что их надо очищать от скорлупы. Мини сказала, что это самое вкусное из всего, что есть на столе. После обеда меня стошнило в цветочный горшок.

Со временем я научилась всему. Мыться нам разрешали два раза в неделю — всегда в еле теплой воде, независимо от времени года, — но мыть голову можно было лишь раз в неделю. Раз в полгода всем ученицам давали ложку касторки в качестве профилактики запоров, от которых страдали все поголовно, и учительницы в том числе. Я научилась сама чистить обувь, завязывать шнурки, заплетать себе косу и застилать постель.

Директрису звали сестра Мария-Тереза, но между собой ученицы называли ее Ужастью, и на второй день в школе Святой Агаты я поняла

почему. Пока все остальные изучали историю, естествознание, английский и математику, я сидела в ее крошечном кабинете, где мы были только вдвоем. Над массивным столом, на стене, под огромным, сурового вида распятием, висела фотография смуглой молодой девушки в облегающем, как чулок, платье, явно ей тесноватом. Она стояла, чуть скособочившись, и улыбалась ярко накрашенными красными губами. Лившийся в окно свет падал прямо на ее лицо и засвечивал его левую половину. Они были похожи, девушка на фотографии и директриса, но не настолько похожи, чтобы говорить о родственном сходстве. Когда я впервые увидела этот снимок в кабинете у директрисы, я хотела спросить, кто эта девушка, но решила, что торопиться не нужно, а лучше дождаться, когда между нами установятся доверие и симпатия. Потом я жалела, что упустила возможность спросить в первый день.

— Я прямо диву даюсь, что такая большая, дебелая девица не умеет читать, — сказала директриса.

Я молчала, не зная, надо ли отвечать.

— В твоем заявлении на прием указано лишь имя матери. В графе «Отец» стоит прочерк. Почему?

Я открыла рот, но язык сделался ватным.

— Ладно, неважно. Я сама знаю ответ, догадаться несложно. Бери букварь и открывай на первой странице.

Я начала открывать книжку, но директриса шлепнула меня по руке:

— Что это такое?

Букварь был обернут в газету. Очень неаккуратно. Мини пыталась меня научить самому быстрому способу оборачивать учебники, но я еще не наловчилась. На первой странице была какая-то надпись карандашом: буквы, которые, видимо, складывались в предложение.

— Это ты написала?

— Нет.

— Ты умеешь писать? А нам врала, что не умеешь?

— Нет.

Резко выбросив руку вперед, директриса ущипнула меня за щеку. Я чувствовала, как ее острый ноготь протыкает мне кожу.

— Пролистай все страницы и сотри все пометки. Тебе выдали новые, чистые учебники в идеальном состоянии. Такими они и должны оставаться.

Я принялась листать страницы, быстро, но

бережно, чтобы она видела, что я с уважением отношусь к книгам. Она вышла из кабинета, оглушительно хлопнув дверью. Она сказала неправду: учебники были совсем не новыми и уж точно не в идеальном состоянии. На многих страницах были загнуты уголки, края листов обтрепались. Надписей карандашом, да и просто каляк тоже было немало. Листая букварь, я гадала, сколько других учениц читало его до меня, сколько других учениц сидело в этом самом кабинете, где теперь сижу я. Растирая горящую щеку, я поняла, что это каляки-маляки четырехлетних детишек. Девочки моего возраста уже давно бегло читают и знают наизусть всю таблицу умножения. Я открыла страницу, наполовину зеленую, наполовину голубую. Трава и небо. Понять, что нарисовано, было несложно. Я провела пальцем по черным печатным буквам внизу страницы. Там могло быть написано что угодно. В центре картинки располагалось большое дерево с толстым, гладким стволом. В Пуне я таких деревьев не видела. Под деревом стояла девочка с оранжевым мячом в руках. В углу страницы темнели синие карандашные линии. Я принялась тереть их ластиком, и они побледнели. Вместе с ними побледнел и кусочек неба. Я не понимала, что

означают эти линии. Совершенно бессмысленные, ни о чем не говорившие, они только пачкали чистое небо. На мяче в руках девочки были полоски. Если добавить еще одну, то никто ничего не заметит. Я взяла карандаш. На мяче появилась новая полоска, еще одна линия. Но не бессмысленная и ненужная, как те непонятные каляки на небе. Эта новая линия идеально вписалась в рисунок, будто так было задумано. Она ничего не испортила. Я присмотрелась к картинке. Еще одну линию можно добавить на желтом платье у девочки — вокруг оборки на кружевном воротнике, изогнутом буквой S. Я дорисовала еще один слой кружев.

Меня с такой силой дернули за косу, что голова запрокинулась к потолку. Я смотрела на потолок. Смотрела на разъяренное лицо сестры Марии-Терезы. В уголках ее рта пузырилась слюна.

— Тебе было велено стереть помарки, а ты что делаешь? — Она наклонилась и присмотрелась к странице. — Ты только вчера поступила в школу и уже портишь имущество. — Она вырвала карандаш у меня из руки и негодующим жестом указала на книгу.

Я схватилась за ластик, но желтый стирался не так хорошо, как синий. Линия размазалась в

грязное зеленоватое пятно. Платье девочки на картинке словно вылиняло вокруг воротника. Я прекратила тереть и беспомощно положила руку на стол. Я вся покрылась испариной. Сестра Мария-Тереза глянула на картинку, а затем внезапно взмахнула рукой и со всей силы вонзила карандаш в тыльную сторону моей ладони.

Мы обе уставились на мою руку, из которой торчал карандаш. Точно дерево на картинке. Точно флаг на флагштоке у входа, где меня бросила мама. Я закричала. Сначала просто от вида этого карандаша. Боль пришла только потом, она пронзила руку, отдалась в плечо. Так больно мне не было еще никогда.

Сестра Мария-Матильда, заправлявшая в школьном медпункте, промокнула мне рану ватными шариками, чтобы убедиться, что внутри не осталось обломков карандаша. Она обращалась со мной аккуратно и бережно, но не прикасалась ко мне больше необходимого. Она туго забинтовала мне руку и отправила восвояси.

— Что случилось? — спросила Мини.

— Ужасть, — сказала я, стараясь не расплакаться.

Когда я рассказала ей о сквозной дырке у меня в руке, у нее в прямом смысле слова отвисла

челюсть.

— Вообще-то это запрещено. Так нельзя.

Я сжала и разжала кулак. Рука вроде бы двигалась. Тогда я еще не умела злиться.

На следующий день сестра Мария-Тереза вновь пригласила меня к себе в кабинет и занялась моим обучением. О вчерашнем не было сказано ни слова. Она занималась со мной каждый день. Когда я медленно соображала и не поспевала за ее темпом, она щипала меня или вонзала ногти мне в кожу, каждый раз в новое место. Когда я проявляла неряшливость и нерадивость, она лупила меня линейкой по пальцам или по икрам. Я узнала слова, которых не знала раньше. Например, «грех». Я узнала, что чистота никак не связана с мытьем в ванне.

В душевой для учениц монастырской школы всегда было сумрачно, даже когда снаружи светило солнце. Кафельная плитка у меня под ногами была мокрой и скользкой, запах щелока, мыла и сырости накрепко въелся в деревянные дверцы душевых кабинок. Вокруг слива в полу темнело пятно застарелой грязи, накопившейся за многие годы. Я стояла в кабинке голая. Мини была одета, но мы это не обсуждали. Мы вообще ничего не обсуждали. Правая половина ее очков перекоси-

лась и съехала вниз, на щеку. Я повнимательнее пригляделась к ее лицу. Может, оно у нее кривое, просто я раньше этого не замечала?

Я не знала, зачем она увязалась за мной в кабинку. Она молча перевернула ведро, стоявшее кверху дном, и открыла кран. Вода с шумом ударилась о жестяное донце. Когда ведро наполнилось до отметки на середине, я потянулась закрыть кран. Это все, что нам было позволено. Я уже знала. Полведра чуть теплой воды. Но Мини легонько коснулась моего запястья и вытащила из кармана длинный нейлоновый чулок. Я удивленно уставилась на нее, гадая, какие еще чудеса и диковины прячутся в ее карманах. Она закрепила верхнюю резинку чулка на душевой лейке, а нижний конец опустила в ведро. Глядя мне прямо в глаза, Мини открыла кран с горячей водой до предела. Вода беззвучно потекла в ведро.

— Ламба, ты тут?

У меня душа ушла в пятки, глаза в ужасе распахнулись.

— Да, — сдавленно пискнула я.

Я слышала, как Ужасть подходит к кабинке. Мини приложила палец к губам и беззвучно забралась с ногами в ведро. Набранная вода всколыхнулась. Кран мы так и не закрыли.

Ужасть закряхтела, наклоняясь к узкой щели между дверью кабинки и полом. Заглянула в кабинку, увидела мои голые ноги и донце ведра. Когда она выпрямлялась, у нее захрустело в коленях.

— Мойся быстрее, не трать время зря, — сказала она.

Затаив дыхание, я слушала ее удаляющиеся шаги.

Мы с Мини не сразу решились пошевелиться. Так и стояли, глядя друг на друга: я — по-прежнему голая, она — в школьной форме, по колено в воде.

Однажды ночью я лежала в постели, глядя в темноту под потолком. Где-то там, за пределами этой комнаты, в небе пенились облака.

— Мини, — сказала я. — Мне надо в туалет.

— Ну, так иди в туалет, — пробормотала Мини.

Идти надо было довольно далеко, по неосвещенной дорожке, под призрачный шелест деревьев и крики животных, в холодной ночи.

— Мини, пойдем со мной.

Мини что-то проворчала и отвернулась.

Я снова легла головой на подушку. Мои руки и ноги закоченели, но мне было жарко. Я лежала, обливаясь потом, сжимала ноги и чувствовала,

как в животе нарастает давление. Крепко зажмурившись, я почти видела, как снаружи сгущается ночь, но небо светлеет, растекаясь молочной белизной. В небе мерцали звезды. Мое напряженное лицо постепенно расслабилось, губы раскрылись с беззвучным вздохом.

Утром меня разбудил резкий толчок в бок. Солнечный свет, льющийся в окна без занавесок, согревал мне лицо. Я открыла глаза и увидела злой подбородок и тяжелую челюсть, нависшую надо мной.

— Грязная маленькая индуска. Посмотри, что ты наделала.

Я лежала в холодной луже посреди постели.

В то утро я стояла у входа в спортивный зал и держала на вытянутых вверх руках мокрую простынь. Костяшки пальцев жгло, как огнем, и мне хотелось их облизать. У меня затекли руки. Меня всю трясло. Мои одноклассницы, спешившие на первый урок, искоса поглядывали на меня и тихонько хихикали. Эти девочки совершенно меня не знали. Хотя я жила среди них уже несколько месяцев, я все время держалась особняком. Они знали, что я другая, отсталая.

Телесные наказания были не так уж страшны. Иногда они становились отправной точкой для

дружбы. Мы сравнивали красные полосы на запястьях и пальцах: у кого больше. Это были наши браслеты и кольца. Синяки на икрах и тыльных сторонах ладоней держались дольше. Это были наши мехенди. Каждую неделю мы выбирали невесту: девочку с самыми темными мехенди. Все ее восхваляли и говорили, что она станет любимой невесткой у своей свекрови. Девочка, «заслужившая» больше колец и браслетов, становилась нашей королевой. Мы ей кланялись, проходя мимо, целовали ей руку и выполняли ее приказы.

По воскресеньям нас всех сгоняли на мессу. Я беззвучно двигала губами под слова гимнов, но про себя повторяла иные молитвы. Бледный гипсовый Иисус взирал на меня с алтаря. Я обращалась к другим богам. К тем, с которыми меня познакомила бабушка. Я говорила с ними на хинди, чтобы они меня понимали.

Я научилась так хорошо рисовать, что даже Ужасть не замечала моих помарок в учебниках. Я научилась читать и писать, выучила названия всех планет и разобралась с умножением дробей.

Иногда по ночам я присаживалась на корточки в углу спортивного зала и мочилась прямо на

пол. Брызги мочи попадали мне на ноги, но я старалась об этом не думать. Монахини вскоре заметили лужи и принялись устраивать внезапные проверки посреди ночи. В темной спальне они были как призраки в белых ночных рубашках. В такие ночи я поджимала под себя ногу и со всей силы давила пяткой себе в промежность.

Я научилась контролировать свои телесные выделения. Количество пота, которое я выделяла, напрямую зависело от того, как часто я мылась. Сколько раз в день я схожу в туалет, напрямую зависело от того, сколько я выпью воды. Что-то во мне закупорилось. Тело как будто закрылось. В него мало входило, из него мало что выходило.

— Что с тобой? Тебе плохо? — спросила Мини.

Я покачала головой, но меня охватила внезапная слабость. Перед глазами все поплыло. Я почувствовала, что сползаю со стула. Столовая закружилась и погрузилась в черноту.

Я очнулась и поняла, что лежу носом в пол. Меня окружало несколько дюжин блестящих черных туфель. Шепот и смех. Мне на лоб легла чья-то холодная рука. Мой взгляд скользнул вверх по этой руке, мимо запястья в оплетке разбухших вен, и уткнулся в лицо монахини, склонившейся надо мной.

— Зовите медсестру.

Медсестра начала с протокольного измерения температуры, но при виде моей огненно-красной мочи тут же вызвала директрису.

— Инфекция, — сказала она.

Меня отвезли в ближайшую больницу, где мне прописали сильные антибиотики. Три дня я пролежала в голубой больничной палате. В носу постоянно свербело от запаха хлорки и нафталиновых шариков, разложенных под каждой раковиной.

Я не знаю, кто позвонил маме и дедушке. Но им позвонили, они приехали и привезли с собой запахи Пуны. Увидев меня, дедушка покачал головой. Мама расплакалась и сказала:

— Мы забираем ее домой.

Выписавшись из больницы, я вернулась в монастырскую школу лишь для того, чтобы собрать свои вещи. Маленький чемоданчик. Мои рисунки. Я развесила их на стене в доме у бабушки с дедушкой, в комнате, где мы жили с мамой вдвоем.

Никто не спрашивал, что со мной произошло, почему я так сильно похудела, почему у меня поредели волосы и откуда взялся маленький круглый шрам на моей левой кисти, причем с

обеих сторон. Жизнь продолжалась как ни в чем не бывало. Возможно, в каком-то смысле так оно и было. Мы все жили в разных, отдельных реальностях.

Бабушка целыми днями уговаривала меня поесть. Когда я отвечала, что не голодна, она грозилась позвать кого-то чужого, кто меня заберет. Врача, полицейского, злого дядю. Всегда только дядю. Только мужчину.

Эти мгновения всегда выходили неловкими: я была уже слишком большой для таких детских страшилок и понимала искусственность бабушкиных угроз. Также мне было бы любопытно узнать подробности предполагаемого наказания. Чего мне ожидать? Какой боли, каких унижений? Мне хотелось спросить: он меня заберет, чтобы что? Что именно он со мной сделает? Я знала, что происходит за горизонтом ее угроз, на той стороне: я уже там бывала, в этом месте, на которое она намекала, пытаясь меня напугать. Но я чувствовала, что она придет в ужас, если сказать ей всю правду. Так что я ела, даже когда не хотела есть, позволяя ей верить, что я боюсь.

* * *

С мамой почти каждый день происходят какие-то инциденты.

Она не знает, кто замачивает фасоль. Но каждое утро на кухне стоит кастрюлька. Кто ее ставит? Зачем? Иногда она помнит, что сама замочила фасоль, но не помнит, для чего именно. Для чилы? Для дала?

То же самое происходит с одеждой в корзине для грязного белья. Мама гадает, может быть, в ее доме живет кто-то еще и беззастенчиво пользуется ее одеждой. Кто она, эта другая женщина? Она одна или их несколько? В этом месяце, первого числа, мама платит домработнице дважды. Настроение у домработницы нехарактерно хорошее, но портится сразу, как только я исправляю мамину ошибку.

Я не рассказываю об этом Дилипу. Чем меньше я говорю о маме, тем лучше. Ее болезнь и без того нависает над нами гнетущей тенью. У нас дома все как-то не так. Дилип запирается в ванной, когда идет мыться. Ложится в постель, когда он уверен, что я уже сплю, и меня начинает трясти, если я слишком долго размышляю о том, какое все хрупкое между нами.

Я встречаюсь с маминым лечащим врачом. У него новая стрижка, и сегодня он не надел обручальное кольцо.

Я интересуюсь, хорошо ли он отдохнул в отпуске. Он отвечает, что хорошо.

Я рассказываю про фасоль.

Он говорит, что, наверное, надо менять дозировку маминого лекарства.

Я говорю, что мама снова живет одна.

— Был один инцидент.

— Какой именно?

— Она чуть не устроила в доме пожар. Подожгла наши вещи. Облила спиртом и подожгла. В комнате пришлось делать ремонт. Она обожгла себе руку. Это было так страшно. В нее как будто вселился злой дух.

Врач кивает.

— Звучит действительно страшно, но если принять надлежащие меры предосторожности, то подобные происшествия можно предотвратить в будущем.

Я ерзаю на стуле.

— Сейчас мама не может жить с нами.

Врач говорит, что для нее это плохо, но для меня — в перспективе — как раз хорошо.

— Для меня?

Он говорит, что у нас с мамой всегда была общая, одна на двоих, версия собственной объективной реальности. Без меня ее связь с этой реальностью может ослабнуть — печально, но факт, — но мне, человеку, который ухаживает за больной, дистанцирование пойдет только на пользу. Очень трудно, когда все вокруг исчезает.

Он говорит, память — это не данность, а непрестанный процесс. Мы постоянно ее перестраиваем.

— Может, она вспомнит что-то из прошлого, — говорю я. — Что-то, о чем мы напрочь забыли.

— Вы никогда не узнаете, настоящие это воспоминания или воображаемые. Полагаться на вашу маму уже нельзя.

Вместе мы обсуждаем последние стадии маминого недуга: он, знаток медицины, и я — знаток поиска разнообразных теорий.

Галлюцинации, погружение в прошлое, архаическое восприятие себя, ощущение полного, неизбывного одиночества. Настоящее видится таким, как есть: крупинкой, всегда просыпающейся через сито.

Он кивает мне и говорит, что я хорошо разбираюсь в предмете. Я его благодарю, но все равно ощущаю себя дилетантом, нахватавшимся по

верхам.

Он говорит, что надо почаще разговаривать с мамой, чтобы подстегивать ее мышление. Письмо тоже может помочь. Оно активирует различные центры в мозге. Пусть она ведет записи. Эмоции, вероятно, останутся. Но со временем они тоже сотрутся. Я буду терять ее по частям, понемногу за раз. В конце концов она превратится в дом, из которого я переехала и где не осталось ничего знакомого.

Я говорю:

— Я читала, что эта болезнь может быть вызвана нечувствительностью к инсулину. Такая своеобразная форма сахарного диабета.

— Нет убедительных доказательств в поддержку этой теории.

— Еще я читала, что некоторые исследования связывают умственное здоровье с состоянием кишечника.

Он отворачивается, сморщив нос, словно от меня плохо пахнет. Возможно, ему не понравилось упоминание о кишечнике: для него это как святотатство. Как надругательство над догмой, которую он считает незыблемой. Французские интеллектуалы воротили носы, когда Жорж Батай утверждал, что просветление можно найти

и в дерьме, а Бог может встретиться человеку в облике сумасшедшей проститутки. Возможно, современные невропатологи предпочитают удерживать ширму, что отделяет их вотчину от всего остального тела: возвышенный мозг не соотносится с низменным дерьмом, никак не связанным со священными тайнами, которых они взыскуют.

Дома я включаю свет, и у меня прямо перед лицом пролетает муха. Она рыщет в пространстве, измеряет параметры своей клетки, бьется о зеркала и оконные стекла, пробует лапками разные виды поверхностей. Я наблюдаю, как она кружит по комнате, и гадаю, сколько часов она здесь пробыла. Наверняка у нее в голове уже расписана вся планировка, обозначены координаты. Она знает самое дальнее расстояние, которое может преодолеть: диван, книжный шкаф, дверная ручка. Я открываю балконную дверь и отхожу в сторонку. Жду, когда муха вылетит прочь, почуяв знакомые запахи снаружи. Но она не вылетает. Она продолжает кружить по комнате.

Я ложусь на диван, кладу ногу на подлокотник. Может быть, мухе здесь нравится, в новом доме. Она жужжит у меня над головой. Сердитая. Пойманная в ловушку.

Муха вновь пролетает мимо распахнутой настежь двери. Я наблюдаю за ней и думаю: видит ли она дверь или карта, которую она составила в голове в эту эру своей короткой мушиной жизни, так незыблемо врезалась в мозг, что мир снаружи попросту перестал существовать? Выход есть, но его как бы нет, он попадает в слепое пятно. Все, что знает эта несчастная муха, бьющаяся в зеркала, в свое собственное отражение: что-то упущено, что-то неладно. Чего-то ей не хватает.

Мама выходит на улицу посреди ночи. Просыпается, идет в туалет и выходит из дома в ночной рубашке. Привратник ловит ее на улице, когда она пытается подозвать рикшу. Он провожает ее до квартиры и видит, что дверь распахнута настежь.

Он сразу же звонит мне. Мы с Дилипом приезжаем через полчаса. Небо уже начинает светлеть. Привратник говорит, что, уходя, мама оставила включенным кран в ванной. Я даю ему денег за беспокойство, самую маленькую купюру, какая нашлась в кошельке.

— Она нездорова? — спрашивает привратник перед тем, как уйти.

Я говорю:

— Нет. С ней все хорошо. Просто приснился

кошмар.

Когда он уходит, я говорю Дилипу:

— Теперь он знает.

Дилип непонимающе моргает. У меня дрожат руки.

— Он знает, что она нездорова. Теперь весь дом будет знать… все соседи и вся прислуга… они будут знать, что пожилая незамужняя дама из такой-то квартиры серьезно больна, может быть, даже выжила без ума. Теперь она беззащитна.

Я говорю Дилипу, что останусь у мамы, пока мы не поймем, что делать дальше. Он не спрашивает, долго ли я тут пробуду. Я пытаюсь об этом не думать, пытаюсь не замечать, как от напряжения сводит скулы, гоню прочь ощущение, что все разваливается на части.

Мы с мамой спим в одной постели. В последний раз мы так спали еще до того, как я уехала в монастырскую школу.

Домработница подметает полы дважды в день. Склонившись к самому полу, медленно ходит по комнате. Трет глаза свободной рукой. Пыль и волосы сметены в кучку рядом с диваном. Метла задевает меня по ногам.

В дом пробралась ящерица. Либо через входную дверь, которая всегда приоткрыта, либо через

окно в кухне. Она расхаживает вверх ногами по потолку, заблудившись среди бурых пятен. Я наблюдаю, как она осторожно продвигается вперед, словно ступает по льду. Кусок штукатурки свисает, как оторвавшийся струп, и легонько покачивается под вентилятором.

Домработница заканчивает подметать. Ее ведро стоит на полу, словно гнездо, свитое из черных проводов.

Я вижу новые пятна на потолке. Кажется, они потемнели.

— У соседей сверху прорвало трубу, — говорит домработница.

Я разглядываю потолок, составляю мысленную карту участков пузырящейся краски. Пуна затянута дымкой, но вселенная за пределами этих стен пустынна и безгранична. Они подражают друг другу, ящерица и домработница, топчутся вокруг меня. Никуда не торопятся. У меня болит голова. Каждую ночь маме снятся кошмары. Она просыпается и будит меня.

В вечерних сумерках улица за окном наполняется шумом машин и гудками клаксонов. Водители орут друг на друга, их голоса далеки, но знакомы.

Я заливаю пол в душе «Деттолом» и оставляю

на ночь. Утром я беру мочалку, и она пахнет этиловым спиртом. Я тру колени, счищаю мертвую кожу. Струи горячей воды бьют меня по спине. Я продолжаю тереть. Кожа становится красной и горит огнем. Я представляю, что, если тереть еще дольше, еще сильнее, я стану прозрачной, как облако. Поднимусь в небо и позабуду, что там, внизу, что-то есть.

Потолок дрожит, будто живой.

Иногда мне кажется, что все дело в этой квартире. Здесь любой бы сошел с ума.

В ближайшие дни все становится ясно: мама свихнулась уже окончательно.

Она сообщает бабушке, что слышит голос Бабы. Он не говорит ничего выдающегося: делает замечания о погоде, зовет маму по имени. Иногда просто покашливает или хмыкает. Иногда со стоянки внизу доносится его смех.

Поначалу она искала его по квартире, уверенная, что он здесь. Вошел через дверь или прямо в окно — он скучает по ней и знает, где она живет. Его голос звучит так близко. Он наверняка где-то рядом. Его голос тревожит ее, не дает ей покоя, она бросает свои дела и отправляется его искать. Смотрит за шторами, даже заглядывает под диваны. Я наблюдаю за ней, но отворачиваюсь

каждый раз, когда она возвращается ни с чем.

Бабушка поджимает губы и не произносит ни слова. Я запираюсь в ванной и плачу.

— Мне кажется, галлюцинации связаны с тем, что ее обижает сильнее всего, — говорю я бабушке. — Она ожидала другого, когда ушла из ашрама. Она думала, что Баба захочет ее вернуть. Может быть, сам приедет за ней и она снова займет свое место при нем. Но этого так и не произошло.

— Это было давно, — отвечает бабушка. — Нельзя столько лет обижаться.

Я провожаю ее до машины. Ворота распахнуты настежь. Привратника нет на месте. Наверняка курит биди и гоняет чаи со своим старым приятелем, который живет в конце улицы. Миссис Рао не видно, но ее померанский шпиц заливается лаем, просунув голову между прутьями решетки балкона. Мы с бабушкой целуемся на прощание. Она садится в машину и уезжает, я машу ей вслед. Теперь между нами всегда остается что-то недосказанное. Как будто внутренне мы избегаем друг друга. Как будто мы совершенно чужие люди.

Вечером мама ложится в постель прямо в тапочках и засыпает мгновенно. Я звоню Дилипу. Он ужинает в одиночестве, сидя перед телевизором. Его голос в трубке потрескивает, словно он

где-то совсем далеко.

Дилип говорит, что его друзья из Дубая переехали в новый дом с собственным садом и гаражом на две машины. В пяти минутах ходьбы от их дома — общественный пляж. Дилип спрашивает, не хотелось бы мне переехать в Дубай. Я слушаю мужа, пытаюсь представить тот, другой город и гадаю, как пляж превращается в пустыню, как влажный воздух становится совсем сухим.

Мама кричит во сне.

— Что это было? — спрашивает Дилип.

— Ничего, — говорю я.

Мама выходит из спальни. Ее волосы сбились набок и липнут к щеке. Она опускается в кресло прямо напротив меня и шепчет:

— Ты должна перестать.

У нее мокрые глаза.

Я вздыхаю и прижимаю телефон к ключице.

— Мам, тебе что-то приснилось. Это просто сон. Пойдем, я тебя уложу.

— Нет, это не сон. Ты должна перестать рисовать эти портреты.

Телевизор включен, идут новости. Диктор-ша непонятной этнической принадлежности сообщает о подозрении на теракт. Я тянусь за пультом.

— Ты меня слышишь? — говорит мама. — Перестань рисовать эти возмутительные портреты. Они оскорбляют меня. Они оскорбляют твоего мужа. Когда ты их рисуешь, ты намеренно нас оскорбляешь. А когда выставляешь их в галереях, то оскорбляешь вдвойне.

Я кладу телефон на диван и встаю. Мое сердце колотится как сумасшедшее. В коленях что-то хрустит. Я кладу руки маме на плечи и говорю:

— Хорошо. Как скажешь. Но сейчас ложись спать.

Она вроде бы успокаивается и позволяет увести себя в спальню. Я укрываю ее одеялом. У нее очень холодные руки.

Дилип в трубке молчит.

Я говорю:

— Так на чем мы там остановились?

— Почему она упомянула меня? Почему твои рисунки меня оскорбляют?

Я тру глаз свободной рукой. Белая слизь из уголка глаза липнет к пальцу, как капелька клея.

— Не знаю. Я не знаю, что у нее в голове.

1993

Мама с бабушкой не могли больше видеть друг друга, и мама решила снять крошечную квартирку недалеко от ашрама.

Тогда я не знала, откуда у нее были средства платить за квартиру, но позже бабушка рассказала, что дедушка дал ей денег, чтобы восстановить хоть какое-то подобие мира в семье и в жизни. Плюс к тому, Кали Мата время от времени приносила маме конверты, которые называла вспоможением от ашрама.

Меня записали в английскую среднюю школу, где я, совершенно не подготовленная к учебе, отставала по всем предметам. Директриса настоятельно рекомендовала взять репетиторов, чтобы подтянуть мои знания. Мама лишь улыбнулась в ответ. У нас не было денег на репетиторов.

Из всех школьных предметов меня больше всего пугал хинди. Я просто не понимала: как язык, который я слышала с детства, на котором легко говорила сама, мог казаться таким чужим и незнакомым? Впрочем, читала я вполне сносно и вполне сносно писала. Учителя даже хвалили

мой аккуратный, механический почерк. В каждой написанной мною строчке явно сквозила покорность.

— Монастырская школа, — сказала мама.

Директриса понимающе кивнула.

Теперь, когда я освоила цифры и буквы, передо мною как будто открылся весь мир. Кали Мата улыбнулась:

— Чтение меняет все.

Но меня привлекала не речь, не язык. Меня привлекали лишь символы, из которых он складывался. Абстрактные и, по сути, случайные значки, которые я наполняла совершенно иными смыслами.

Я начала вести дневник, но не такой, как девчоночьи дневники одноклассниц. У меня не было записей о любви и мальчишках, о мечтах и желаниях. Мой дневник был коллекцией моментов из прошлого, главным образом, списком обид. Я зашифровывала свои записи, изобретала особый порядок так, чтобы пункты из списка располагались хронологически, но при этом еще отражали и тяжесть обиды, и степень воздействия на меня. У меня было несколько таблиц, посвященных сестре Марии-Терезе. Несколько таблиц, посвященных маме. Все остальные тоже имели свои

конструкции записи данных, зашифрованных цветом и набором цифр.

Все, кроме папы. В моем дневнике его просто не существовало.

У меня было мало подруг в школе и вообще ни одной во дворе. Апофеозом моего отчуждения стало то утро, когда я проснулась без левой брови. Выпавшие волоски рассыпались по подушке, как обрезки черной нитки. Их было так мало, что даже не верилось, что раньше их вполне хватало на целую бровь. Я посмотрелась в зеркало, провела пальцем по голой коже над левым глазом. Глаз казался каким-то сиротским, вроде как недоделанным.

— Что ты сделала? — спросила мама, увидев меня.

Кали Мата поставила чашку с чаем на стол. Тени у нее на веках растрескались, как карамельная корочка на крем-брюле.

— Как тебе не повезло, — сказала Кали Мата.

Я упрашивала маму разрешить мне сегодня остаться дома, не ходить в школу. Но мама была неумолима.

— Оно не так уж заметно, — сказала Кали Мата. — Ну, то есть заметно. Но лишь потому, что есть вторая бровь.

Я зачесала волосы так, чтобы они закрывали всю левую половину лица. Я боялась лишний раз поднять голову. Сидела за партой, прижимая ладонь к лицу. Я вернулась домой из школы совершенно измученная.

— Ну, да. Некрасиво, — сказала мама. — Но зачем прятать лицо? Молодые девчонки должны быть смелыми.

Она говорила о себе, о собственном образе. Бунтарка, ослушница, сумасбродка. Но я была не такая. Я не чувствовала в себе смелости.

Из-за постоянной тревожности у меня поднялась температура, и мне все-таки разрешили остаться дома. Я целыми днями читала книги Энид Блайтон и ежечасно бегала к зеркалу. Все ждала, что над глазом пробьется черная щетинка, но кожа на месте брови была голой и гладкой.

Вертя головой перед зеркалом, я видела двух разных людей. Девочку, которой я была раньше, и существо, которым стала теперь: чем-то не совсем человеческим.

Я провела маминой бритвой по второй брови.

Бровь тут же исчезла. Черные волоски посыпались в раковину и прилипли к мокрым стенкам. Они казались чернее и толще, чем те волоски на подушке.

Увидев меня, бабушка вскрикнула и сказала:

— Я так и знала. Это явно какая-то зараза. Она ее подцепила в монастыре.

Когда я сказала, что сама сбрила вторую бровь, мама наклонилась ко мне, перегнувшись через стол. Ее руки были такими же белыми, как сырые куриные окорочка.

— Ты, конечно, страшна как смерть, — сказала она. — Но я рада, что ты поступила правильно.

Мне было страшно выходить из дома. Мне казалось, что все на меня смотрят. Кроме школы, я почти никуда не ходила и ни с кем не общалась. Лишь Кали Мата регулярно меня навещала. Она приносила мне книги, колоды потрепанных карт, настольные игры, о которых я никогда раньше не слышала. Она приносила и всякие странные штуки: восточные чайные сервизы, старые ключи, мои детские фотографии из тех времен, когда я жила в ашраме. Мы разложили поблекшие снимки, как пасьянс, на обеденном столе. Кали Мата набрала вес. Когда она тяжело налегала на стол, ее груди были похожи на два куска пышного теста.

Я знала, что мы с Кали Матой очень разные. Не из-за цвета кожи, а из-за цвета глаз. У нее они были светло-голубые, в бледно-синюю крапинку.

Зрачки — как яркие черные точки посередине. Я была уверена, что через эти глаза окружающий мир видится совсем иначе и что у человека с такими глазами никогда не бывает темных, унылых, обычных дней.

— Пока ты сидишь взаперти, мир снаружи движется без тебя, — сказала она.

Я обдумала ее слова. Но я не была уверена, что в этом мире снаружи есть место для меня. Мне казалось, что мир и я существуем отдельно.

Однажды я втихаря ускользнула из дома, чтобы купить сигарету в круглосуточном магазинчике неподалеку, где их продавали поштучно. Продавец пожалел меня из-за отсутствующих бровей и дал мне еще одну сигарету бесплатно.

Это было совсем рано утром, еще до того, как проснулся весь дом. Я вышла на лоджию. Козырьки нижних балконов были сплошь в пятнах от голубиного помета. Спрятавшись в уголке, я закурила свою сигарету.

В доме напротив, двумя этажами ниже, было открыто окно в ванной комнате. Там раздевался какой-то старик, бросая одежду прямо на пол. Он был очень худым, только кожа да кости, его скукоженный старческий пенис сморщился в жалкий комочек. Вытянув руку вперед, я прики-

нула примерный размер его члена. Где-то с мой ноготь, не больше. Старик открыл кран, из душа полилась вода. Его ягодицы провисли, как пустые холщовые мешочки.

Вечером я нарисовала его по памяти: стоящим под струями воды, с руками, повисшими, точно плети.

Я не помню число, когда умер Баба. Я даже не помню, какое тогда было время года. Впрочем, все эти подробности есть в его биографии, составленной верными учениками.

В прихожей, как всегда, было сумрачно и уныло, словно мы с мамой хотели, чтобы приходившим к нам людям сразу было понятно, что здесь живут несчастливые отшельницы. Я не помню, что было в той записке, которую я нашла на столе, но мамин почерк казался встревоженным и бездумным. У меня по спине побежали мурашки, и я поежилась, будто в ознобе. Кажется, именно в этот день я впервые в жизни осталась дома одна. Я прошла мимо испещренного темными точками зеркала, висевшего сбоку от входной двери. Прошла, не глядя на свое отражение, но зная, что зеркало меня видит и создает моего двойника, даже когда я стою к нему спиной. Пористая напольная плитка в кухне казалась тусклой и

мутной, словно сегодня ее не мыли, но она была влажной под моими босыми ногами — и даже чуть липкой от средства от насекомых, которое Кашта влила в ведро с мыльной водой.

Я нашла в холодильнике два шарика бунди ладу и тут же их съела. Потом съела весь плавленый сыр из коробочки с красной коровой на крышке и все творожные шарики, завернутые в вощеную бумагу. Я ела и ела, пока у меня не раздуло живот от газов.

В гостиной, рядом со столиком, где молчал телефон, стояло красное кресло-качалка. Мы называли его красным, хотя оно было темно-бордовым. И оно не качалось, а как бы ездило взад-вперед. Плетеное сиденье было изрядно потрепано, местами протерто почти до дыр, но мне все равно нравилось это кресло, хотя я уже давно в нем не сидела из-за смутного воспоминания о том, как мой палец застрял в механизме, когда я была совсем маленькой. Зеркало у меня за спиной по-прежнему отражало меня в себе, и я не осмеливалась обернуться.

Вошла мама, одетая во что-то белое, мятое. Вся растрепанная, бледная как полотно. Я попятилась, увидев ее лицо, и уперлась спиной в твердый край обеденного стола. Он словно вре-

зался мне в поясницу. Я очень остро осознавала, что от кости его отделяет лишь тонкий слой туго натянутой кожи. Мне не было больно, но ощущение все равно было не из приятных. Иногда мне казалось, я слышу шум крови, текущей во мне с таким грохотом, что от него пробуждалось все тело; иногда мне представлялось, что я ношу чье-то чужое тело, которое можно снять, расстегнув «молнию» на боку, и явить миру мои настоящие руки и плечи, мое настоящее лицо, скрытое под маскировочной кожей. Когда мне исполнилось одиннадцать лет, я начала стремительно набирать вес. Набрала уже тринадцать кило. Кали Мата считала, что это из-за гормонов.

Мама открыла высокий буфет, где хранила спиртное, и, встав на цыпочки, достала с верхней полки бутылку дорогого шотландского виски, который предназначался исключительно для гостей мужского пола. Мама открыла бутылку, понюхала ее содержимое и закрутила крышку обратно. Теперь я разглядела, что у мамы были заплаканные глаза. Ее лоснящийся нос был усеян мелкими черными точками.

— Сегодня умер Баба, — сказала она.

На самом деле он умер еще вчера, а сегодня была кремация. Ее решили провести утром. Между

последователями усопшего начались разногласия. Кто-то считал, что необходимо произвести вскрытие, чтобы выяснить причину смерти. Кто-то решительно заявлял, что нельзя кромсать скальпелем тело покойного божества. Если бы Баба хотел, чтобы его вскрыли, когда он умрет, он бы оставил соответствующее распоряжение, говорили они. Кто-то предлагал проконсультироваться с индуистским священником, но Баба ненавидел священников и жрецов, так что эту идею отвергли сразу. Кто-то хотел забальзамировать тело, хотя бы на первое время, чтобы его многочисленные ученики, разбросанные по миру, смогли бы приехать и попрощаться с учителем.

— Бальзамирование — это сугубо коммунистический обычай, — сказала мама. Большинство было согласно, что это будет неправильно и совсем не в традициях учения Бабы и что его надо кремировать как можно скорее. Большинство победило, и в ашраме устроили большой погребальный костер. Ворота были распахнуты настежь, любой человек с улицы мог войти. Многие и входили, даже не зная, что происходит. Мама была среди тех, кто омывал и обряжал тело. Она говорила, что Бабе разбили череп кувалдой,

чтобы его голова не взорвалась на костре.

Когда огонь догорел, все бывшие возлюбленные Бабы выстроились в линию и благословили собравшихся, даруя им утешение. Кто-то в толпе начал кричать, что им всем надо было броситься в костер. Его потихонечку взяли под локоток и вывели с территории.

Стоя рядом с Кали Матой, мама испытывала чувство гордости.

— Я поняла, что это немало, — сказала она. — Быть возлюбленной великого человека.

Я ответила, что мне это кажется мелким, даже дешевым. И тут явно нечем гордиться.

Она тряхнула меня за плечи и со всей силы влепила мне пощечину.

— Ах ты, жирная мелкая сучка. У тебя нет ни капли сочувствия! Сегодня я овдовела!

Слово «шлюха» сорвалось с моих губ вместе с криком ярости, когда я набросилась на нее и повалила на пол. Я уселась верхом ей на грудь, сдавила ей горло двумя руками и душила до тех пор, пока у нее под глазами не набухли багровые вены.

Когда я ее отпустила, она закашлялась, хватая ртом воздух.

Я смотрела на нее сверху вниз, смотрела ей

прямо в глаза.

— Жирная мелкая сучка, — повторила она.

Когда я не ела, я постоянно тянула в рот все, что было под рукой. Свои волосы или пальцы, пластмассовые пуговицы на рукаве школьной формы. Уже через час после еды меня опять терзал голод, хотя мой желудок не успевал переваривать все съеденное и пища заквашивалась внутри. Я не спала по ночам из-за скопления газов, распиравших живот, а днем мучилась то от поноса, то от запора. Иногда в моем стуле появлялась кровь. Иногда меня тошнило желудочной кислотой.

Временами мама бесилась, глядя на меня. Временами она говорила, что ребенок должен есть столько, сколько захочет.

В такие дни она водила меня в кафе есть мороженое, если я долго-долго ее упрашивала. Обычно мы ходили в «Дядю Сэма», американскую закусочную в стиле пятидесятых годов, располагавшуюся на задворках пятизвездочного отеля. Вегетарианское меню включало картофель фри и овощную пиццу с зирой. Семьи с детьми заказывали водянистое мороженое, приготовленное без яиц и всегда наполовину растаявшее к тому времени, когда его подавали на стол. Сиденья, обтянутые белой кожей, давным-давно посерели, но стены,

увешанные яркими флагами и странными сувенирами, смотрелись совершенно новыми, словно их оформили буквально вчера. Музыкальный автомат не принимал денег и играл только песни Брайана Адамса. Рядом с кассой крутилась на вращающейся подставке миниатюрная модель классического «кадиллака». Дядя Сэм наблюдал за происходящим в зале с большого плаката, висевшего на стене.

— Если бы это была церковь, мистер Парех, здесь был бы алтарь, — сказал официант, обращаясь к огромному, как медведь, администратору. Мы с мамой невольно обернулись к Дяде Сэму.

Администратор покачал головой:

— Это не церковь, Реза, и дамы ждут шоколадное мороженое.

Вазочки с мороженым нам принесли без подноса. Официант поставил передо мной блюдце с блестящей засахаренной вишней. Сказал, что это бесплатное угощение. Я посмотрела на него. У него была светлая кожа и очень темные ладони. Длинные волосы, щеки в крапинках оспин.

Я принялась разминать мороженое ложкой, чтобы оно быстрее подтаяло и его можно было скорее съесть. Официант стоял, прислонившись к стене. Смотрел то на меня, то на маму и перио-

дически улыбался.

— Наверное, вкусно, — заметил он, наблюдая, как я поглощаю мороженое.

Я кивнула и отправила в рот очередную ложку. Во рту бурлила слюна. Холодное лакомство почти мгновенно нагревалось до температуры тела.

— А какое оно на вкус?

Я не могла говорить с полным ртом. Я постаралась быстрее все проглотить, но густая молочная сладость облепила мне горло, и я закашлялась.

Мама рассмеялась.

— Вы же наверняка не раз пробовали это мороженое.

Он покачал головой и вытер свои зачерненные ладони о белую официантскую куртку. Никаких видимых следов не осталось. Я наблюдала за его руками, зачарованная их странной пигментацией.

— Для меня вкус совсем не такой. Посмотрите на ее лицо. Для нее это что-то другое.

Я подняла глаза, увидела, как он смотрит на маму, и вдруг поняла, что, пока я ела мороженое, между ними происходил некий безмолвный диалог.

— Меня зовут Реза Пайн.

Мы тоже представились, а потом администра-

тор зычно окликнул его, перекрыв гул голосов в обеденном зале. Перед тем как уйти, официант подсыпал мне на блюдце побольше вишни.

1995

Я уже знала, что секс пахнет мороженым и рыбой, но сама впервые занялась сексом за пачку импортной жвачки «Биг Рэд». Парень, который меня соблазнил, жевал жвачку в процессе и дышал мне в лицо запахом корицы. Ему было шестнадцать, он жил в нашем доме, и весь лоб у него был в прыщах. Он частенько за мной наблюдал, когда я играла в бадминтон с его младшей сестрой. Мы играли на лестничной площадке между двумя этажами, прямо под их квартирой. После первого раза все стало проще.

Мне было тринадцать. Я носила одежду взрослого размера, и сандалии Кали Маты были мне впору. Когда я входила в лифт, лифтер прижимался к стене. Я кричала на маму каждый раз, когда она пыталась со мной заговорить. Мы с ней уже не могли находиться в одной комнате. Что-то во мне разрасталось, расширялось вовне, занимало слишком много пространства и высасывало весь воздух из закрытых помещений. Никому не хотелось подолгу быть рядом со мной, но меня это совсем не печалило. Я сама ненавидела всех

и вся.

Папа и его новая жена вернулись из Америки.

Они пробыли там не три года, а целых шесть лет. Они звонили, чтобы сообщить мне, что она беременна. Я не хотела с ними говорить и узнавала все новости через маму.

Я начала подозревать, что в моем теле живет кто-то другой. Какая-то совершенно чужая девчонка, устроившаяся во мне, как у себя дома. Она распирала меня изнутри, из-за нее у меня появлялись растяжки и обесцвечивалась кожа. Из-за нее у меня росли волосы в тех местах, где они были совсем не нужны, причем росли так стремительно, что эпиляция не особенно-то помогала. Я ела даже не за двоих, а как будто за четверых, и все равно никак не могла насытить бездонную яму постоянного голода.

Мне никто не сказал, что это нормальные переживания для подростка, что так бывает почти со всеми. Впрочем, если бы мне сказали, я бы, наверное, все равно не поверила. Тогда я не знала, что пройдет еще не один год, прежде чем я научусь принимать свое тело и наконец-то смогу быть уверенной, что мне точно известно, где оно начинается и где заканчивается. Тогда масштаб собственного бытия представлялся мне неизме-

римым. А ведь я еще помнила те времена, когда запросто пролезала в узкие щели. Когда бабушка не стонала, если я плюхалась к ней на колени.

Но мое внутреннее смятение не шло ни в какое сравнение с теми пугающими переменами, которые я наблюдала во внешнем мире. Мужчины на улицах с интересом поглядывали на меня. Раньше я этого не замечала. Просто не обращала внимания? Или эти мужчины тоже видели женщину, обитавшую в моем теле?

Женщины тоже смотрели иначе. Что-то было в их взглядах… что-то неуловимое и неприятное. Валики жира у меня на боках вызывали ответную реакцию. Отвращение? Брезгливость? Я точно знала, что они злились. Злость была единственным четко выраженным настроением, присущим нам всем. Единственным настроением, которое я могла определить и назвать. Мне казалось, что на меня злится весь мир, злится яростно и непрестанно. Мужчины злились за то желание, которое я в них пробуждала. Женщины — за мою неспособность держать под контролем это новое тело.

Люди растут и взрослеют грубо, сумбурно и некрасиво. По-другому никак. В этот пугающий промежуточный период мне бы, наверное, помог-

ла полная изоляция: закуклиться в хлопковый кокон и уйти в спячку на несколько лет, а потом выйти в мир взрослой, полностью сформировавшейся женщиной.

Я окончательно впала в уныние, когда Реза сказал, что моя кожа, возможно, уже никогда не очистится. Он вошел именно в тот момент, когда мама прокалывала протертой спиртом иголкой большой гнойный прыщ у меня на подбородке. Реза сказал, что, когда ему было шестнадцать, он весь покрылся прыщами, и даже теперь, по прошествии пятнадцати лет, на коже остались отметины. Он снял свою выцветшую футболку, чтобы показать мне эти отметины. Он был худым и поджарым, но его бледную кожу покрывали россыпи мелких рубцов, оставшихся еще с юности.

— Надеюсь, с тобой такого не произойдет, — сказал Реза. Я снова взглянула на его пятнистый, словно испещренный оспинами живот. — Ты девочка. Девочкам в этом смысле гораздо хуже. Мужикам с плохой кожей все равно проще найти, кого трахнуть.

Я заскрипела зубами от такой двойной несправедливости.

Та, другая девчонка у меня внутри поднялась комом к горлу.

Реза как будто прочел мои мысли.

— Да, — сказал он. — Это несправедливо. Но жизнь вообще штука несправедливая.

Наша с Резой дружба вызревала медленно, по вечерам после школы. Он перебивался случайными заработками, брался за любую работу. В основном за такую, где надо делать что-то руками. В «Дяде Сэме» платили гроши, зато Реза постоянно носил домой пироги и пирожные, не проданные за день. Владелец кафе требовал, чтобы в рабочее время Реза надевал перчатки и не пугал посетителей своими чернющими руками. Реза далеко не всегда выполнял это требование.

Он ненавидел работу в кафе, но в конце каждого месяца получал в банке тонкий конверт с новенькими, хрустящими купюрами. Они напоминали ему о его маме, о ее привычке держать в кошельке только свежие, новые купюры и как можно скорее избавляться от старых, засаленных и мятых. Она твердо верила, что хрустящие бумажные деньги — атрибуты богатого человека, как и лучшая филейная вырезка, самая свежая зелень или сладкие манго. Но обычно бумажные деньги успевали пройти через многие руки, прежде чем попасть к маме Резы.

Однажды мама пригласила меня с Кали Матой

в ресторан. Мы сидели за столиком и пили воду, потому что Кали Мата не ела вообще ничего, что содержит искусственные красители.

— Надо что-нибудь заказать, — сказала мама.

Метрдотель выразительно поглядывал в нашу сторону, пока мы делали вид, что изучаем меню на заламинированных листах.

Реза отпил из своей фляжки.

— Не беспокойся, не надо. Если хочешь, вечером я принесу пирожных.

Описывать Резу Пайна непросто, потому что он всегда балансировал как бы на грани изменчивой, зыбкой реальности. Правда была для него категорией субъективной и поэтому не особенно интересной. Любой прошлый опыт непрестанно менялся, поскольку менялась и память о нем. Некоторые из этих идей он почерпнул из общения с Бабой, и они во многом сформировали его мировоззрение еще в ранней юности. Возможно, именно по этой причине он не нашел себе места в мире фотожурналистики и был вынужден применять свои фотографические умения где-то еще. Мама никогда не встречала Резу в ашраме, но слышала, как о нем упоминали другие.

— У меня ощущение, что я тебя знаю, — сказала она, прикоснувшись к его ноге.

— Значит, знаешь, — ответил он.

Я прижалась щекой к плечу Кали Маты под черной тканью.

Когда Реза называл себя художником, мне что-то подсказывало, что ему нельзя верить. Что вообще значило быть художником? Кроме него, я еще не встречала художников. Он был первым.

Он говорил, что застройщики в Пуне — те же военные спекулянты, эксплуатирующие территориальный инстинкт человека. Он рисовал их углем, скрюченные фигуры со спущенными штанами, из их сморщенных пенисов текли вялые струйки мочи: они бродили по улицам и метили городские кварталы своим зловонием. Он рисовал где угодно, на чем попало. На бумаге, на стенах. Ему было без разницы, где рисовать. Но его руки, всегда черные от угля, стали мне почти родными.

— Это грязная работа, — говорил он.

Он родился в семье поэта, державшего торговую лавку, чтобы было чем кормить семью. Отец был и остался его кумиром: гений поэзии урду, человек, которого Реза не помнил, но всегда вспоминал.

Реза не скрывал, что он сам считался изгоем в журналистской и художественной тусовке в

Бомбее. Тому виной был один случай, произошедший во время массовых беспорядков в Бомбее в 1993 году.

Я сказала, что никогда в жизни не слышала фамилию Пайн. Уж точно не в сочетании с именем Реза.

Он улыбнулся, и я отвела взгляд.

Реза чуть было не получил канадское гражданство. Когда он был совсем маленьким, его семья эмигрировала в Канаду. Когда они приехали в Монреаль, на земле лежал лед.

Его отец полагал, что фамилия Шейх не годится для новой жизни в Новом свете. Он вышел на улицу из подъезда многоквартирного дома в португальском гетто, где они снимали крошечную двухкомнатную квартирку, и посмотрел на табличку на доме. Улица называлась Пайн-стрит. С тех пор их семья носит фамилию Пайн.

— И что было дальше?

— Нас депортировали, — сказал Реза. — Они решили, что мой отец коммунист.

— А он был коммунистом?

— Конечно.

В 1992 году молодого фотожурналиста Резу Пайна отправили в Айодхью — город, который считается местом рождения Рамы, — чтобы снять

репортаж о разрушении мечети и стычках между индусами и мусульманами. Волна беспорядков прокатилась по всей стране. В Бомбее вспышки насилия происходили повсюду, буквально весь город пылал в огне. Оголтелые толпы громили витрины и грабили магазины. Женщин насиловали, избивали, а детей заставляли смотреть.

Индусы убивали мусульман, мусульмане убивали индусов. Повсеместная жестокость, еще вчера пребывавшая в спячке, проснулась, разбуженная подстрекательскими призывами.

Межобщинное насилие воспламенялось не раз. Оно уходило корнями в глубокую древность. Реза видел, как легко можно разжечь пламя страха. Да, страх со временем выгорал, но всегда находил себе новый источник горения.

Реза встречался с людьми, с отдельными личностями, из которых складывается толпа. Они гордились своими деяниями, держались за свою правду. Они стояли плечом к плечу и восхищались художеством собственного изуверства.

Иногда Реза сомневался в реальности происходящего. Ему казалось, что он попал внутрь постановочного кино и снимки, которые он делал и потом проявлял по ночам, были лишь кадрами этого фильма: разрозненные мгновения, каждое

из которых заключало в себе и конец, и начало непрестанного ужаса.

Волнения улеглись через несколько дней.

Пришло время собирать обломки.

В Бомбее сжигали тела убитых, ветер рассеивал все улики вместе с пеплом костров. Жизнь возвращалась в нормальное русло, процесс забвения шел полным ходом. Кто-то даже смеялся, беззаботно прогуливаясь на солнышке.

В новом году началась новая бойня. В городе был введен комендантский час. Весь Бомбей состоял из запертых дверей и темных окон. Реза жил со своей вдовой матерью в квартире неподалеку от Центрального вокзала. Крики повстанцев звучали так близко, что, казалось, стоит лишь выйти на улицу, завернуть за угол — и наткнешься на разъяренную толпу. Но в целом улицы были пустынны, почти никто не решался высунуться из дома. Никто не озвучивал негласную правду, но все понимали, что, если тебя остановят на улице, тебя никто не спасет. Ни нацгвардия, ни полиция. Нет закона превыше, чем прихоть того, кто сильнее тебя — в городе правит насилие. Бомбей больше не твой город: не сейчас и, возможно, уже никогда. Отныне и впредь ты будешь все время держаться в тени.

Но акценты сместились. Богатые и власть имущие задрожали по углам, когда толпы начали атаковать здания в Брич-Кэнди и Нариман-Пойнте, в престижных районах для престижных людей. Безымянные, безликие бунтари расхаживали по широким тенистым аллеям большими компаниями, размахивали шафранными флагами, выкрикивали свои лозунги, громили кварталы, где женщины передвигались по улицам только в машинах с личным шофером, а окна всегда выходили на море.

День близился к вечеру, но еще было светло. Реза фотографировал разграбленные магазины, и разгромленные дома, и безутешных людей, потерявших родных и близких. Фотографировал вдов и сирот. Он не спрашивал у них разрешения на съемку; живые были похожи на мертвых, с точно такими же совершенно пустыми, безжизненными глазами. Какой смысл разговаривать с мертвыми? Они все равно не ответят.

Он услышал за спиной крики и топот, обернулся и увидел толпу людей с палками и камнями в руках. Он испугался и спрятался за автобусом, припаркованным у тротуара. Он пытался фотографировать приближающуюся толпу, но у него тряслись руки. Потом у него сдали нервы, и он

побежал. Влетел в какой-то темный подъезд, помчался вверх по крутой лестнице, натыкаясь на стены, на бегу стучал в двери.

На площадке третьего этажа стояла испуганная молодая женщина. Она собиралась войти в квартиру. Резу трясло, он задыхался, не мог говорить.

— Что случилось?

Он не мог отдышаться, не мог набрать воздуха, чтобы ответить. Но она услышала крики, доносившиеся с первого этажа. Она затащила Резу в квартиру и захлопнула дверь.

Он услышал, как щелкнули замки. Один. Второй. Третий.

Он не стал говорить этой девушке, что уже видел такие замки. Видел, как они переламывались пополам, когда двери срывали с петель. Видел их целыми и невредимыми, когда сами двери сгорали дотла. Он просто взял ее за руку и поблагодарил за свое спасение.

Потом обернулся и огляделся по сторонам. На него молча смотрели люди, вышедшие в коридор. Мужчины, женщины и дети.

Девушку звали Рухсаной. Все остальные были ее родней: дяди и тети, двоюродные сестры и братья. Ее бабушка сидела в кресле у окна, слепая, глухая и безучастная к происходящему. Ее

младшие братья о чем-то шептались, сбившись в тесную кучку.

Семья носила фамилию Шах. Он остался у них, спал рядом с ними. Иногда по ночам они сидели все вместе в большой гостиной, слушали крики и выстрелы, доносившиеся снаружи, и смотрели в окно на пустынные улицы. Каждый день они молились, чтобы телефон заработал и в доме снова включилось электричество, но ничего не менялось.

Дни и ночи больше не размечались часами и датами, время распознавалось лишь по движению луны в ночном небе.

Когда беда подступает так близко, о ней лучше не говорить.

Реза чувствовал благодарность, которую со стороны можно было принять за любовь. Толпа растерзала бы его в клочья, если бы Шахи не взяли его к себе. Он ел их пищу, жил их добротой. Они были щедры и делились с ним всем, что имели, но он видел по их глазам, что они ему не доверяют. Тогда все было иначе. Каждый день ощущался как целая жизнь. Реза даже не знал, выйдет ли он из этой квартиры живым. Когда сидишь взаперти в обществе совершенно чужих, незнакомых людей, это, как говорится, чревато

последствиями. Если ты постоянно трешься плечами с кем бы то ни было, нервы стираются в клочья. Случайно заденешь, и все разлетится к чертям собачьим. Когда он слышал, как Рухсана молилась, ему хотелось рыдать.

Вот почему он женился на ней.

В роли свидетелей выступили ее родственники.

Они создали крошечный островок счастья в отдельно взятой квартире.

Им было почти нечего есть и совсем нечего делать. Он думал, что чокнется от такой жизни, но постепенно они научились не реагировать на шумы, доносившиеся снаружи, и все стало терпимо. Даже лучше, чем просто терпимо. Почти хорошо и приятно. Бывали дни, когда жизнь ощущалась как праздник.

Когда Реза наконец вышел наружу, его мама была довольна, что он нашел себе благонравную мусульманскую девушку. Она сказала, что в жизни ничто не бывает случайно.

— Где Рухсана теперь?

— Живет с моей матерью.

— А ты?

— А я где придется.

Вопросы начались уже потом, когда он проявил пленку. Кадры, запечатлевшие разрушения и смерть, перемежались с мирными сценами в интерьере, улыбками стеснительных, неловко позирующих перед камерой домочадцев и свадебными портретами, строгими и почти аскетичными. Реза снимал их по таймеру. Он рассказал своему редактору о пережитом опыте. Повсюду погромы, смерть и разруха, но любовь все равно проявляет себя проблеском света во тьме.

Мистер Чаудхари, редактор, сказал, что ему хотелось бы встретиться с этой Рухсаной. Она пришла в редакцию на следующей неделе, но слишком робела и боялась поднять глаза. Она была необразованной, почти неграмотной, и эта комната, где слова и картинки складывались в историю прошедшего дня, казалась ей странной и даже таинственной. Рухсана кивала, когда серьезный мужчина в очках задавал ей вопросы, и полностью подтвердила рассказ своего мужа.

— Интересная история с человеческой точки зрения, — заключил мистер Чаудхари, — но надо подумать, как лучше ее дать.

Он знал, что нужно читателям его газеты.

Волосы Рухсаны, скрытые под дупатой, были

жесткими и кудрявыми, как туго закрученные пружинки. Этот секрет знали очень немногие. Иногда Резе хотелось кому-то об этом сказать, кому угодно, хоть первому встречному — незнакомцу в переполненном автобусе, — чтобы он посмотрел на Рухсану и представил ее прическу, которую никогда не увидит своими глазами. Иногда, когда Реза был с женой, он ощущал свою полную власть над ней. Ощущение доставляло ему удовольствие, и его это пугало.

Реза не хотел быть персонажем истории, интересной почтеннейшей публике с человеческой точки зрения. Он сам был автором и творцом, создателем образов. На следующий день он пришел в художественную галерею в Колабе. Явился без предварительной договоренности и принес негативы в бумажном конверте.

Владелица галереи переспросила, как его зовут, и сказала, что ее не интересуют новые экспозиции от начинающих фотохудожников.

Двенадцать дней он ежедневно ходил в галерею. Он умел быть настойчивым. Его журналистская работа требовала выносливости и упорства, так что терпения ему было не занимать. На шестой день его перестали пускать в галерею, и он сидел перед входом снаружи, позаимствовав

раскладной стул у торговца, продававшего старые журналы. От скуки Реза начал жевать табак, но бросил эту привычку к концу недели: резко выплюнул свою последнюю жвачку, когда владелица галереи вышла к нему и сказала, скрестив руки на груди:

— У вас есть всего десять минут.

Экспозицию готовили медленно. Надо было учесть политическую конъюнктуру. Владелице галереи не хотелось становиться мишенью нападок. Концепция выставки тоже сложилась не сразу. В фотографиях, хоть и сильных, ощущалась некая незавершенность, и Реза взялся за угольные мелки. Он рисовал на больших листах бумаги и вырезал из картона силуэты предметов мебели. Галерея превратилась в квартиру Шахов: не такой, какой она была объективно в те бесконечные две недели, а какой ее помнил Реза. Стулья обозначались лишь их тенями на полу. Окнами стали пустые картинные рамы, занавешенные плотной тканью, как бы отгородившей внутреннее пространство от внешнего мира. Фотографии были представлены в декорациях, создающих ощущение замкнутости, тесноты, нарочитой клаустрофобии. Открытие выставки прошло тихо, но народу собралось немало.

Реза беседовал с группой людей, проявивших особенный интерес к его фотоработам, и пересказывал события, из которых родилась идея выставки. Когда он закончил рассказ, были вопросы и обсуждения, и Реза не сомневался, что для него эта выставка станет началом блестящей карьеры. Он не читал отзывы и обзоры в прессе — кто вообще читает отзывы и обзоры? — и удивился, когда владелица галереи вручила ему конверт с газетными вырезками.

Критики сошлись во мнении, что выставка производит, мягко говоря, удручающее впечатление и поднимает серьезные этические проблемы, а также вопросы к художнику. Сама история создания этих снимков выходит довольно сомнительной, полной несоответствий и очевидных умолчаний, и уж точно не вызывает симпатии. Реза вторгся в чужое пространство, фотографировал приютивших его людей, не объясняя им своих намерений, и беззастенчиво использовал снимки для собственных целей. Чтобы как-то оправдать свое, по сути, преступное вторжение в чужую личную жизнь, он женился на девушке из обманутой им семьи. Насилие над Рухсаной — и лично над нею, и над ее фотографиями, выставленными на всеобщее обозрение, — неприемлемо ни с

какой точки зрения. Причем все это происходило в один из самых тяжелых периодов за всю историю города. Один из критиков требовал закрыть выставку, вопрошая: «Разве Шахи недостаточно натерпелись? Неужели их страхи, страдания и беды должны превращаться в товар ради выгоды человека без всяких моральных устоев?»

Владелица галереи закрыла выставку на десять дней раньше срока.

Реза забрал свои работы через три месяца после закрытия. Ни одна фотография не продалась. Владелица галереи сказала, что пострадала ее репутация и что вся затея обернулась катастрофой.

Реза пожал плечами и сказал, что он искренне не понимает, из-за чего весь сыр-бор.

К тому времени, когда Реза закончил рассказ, мама держала его за руку. Другую руку она прижимала к груди над сердцем. Кали Мата дышала шумно и глубоко, и я поняла, что она тоже тронута его рассказом. Я сама многого не поняла, многого попросту не услышала. Я смутно припоминаю, что мне было как-то тревожно и неуютно, но не из-за того, что происходило вокруг, а из-за того, что творилось у меня внутри. Сколько я себя помнила, мне всегда говорили, что настоящая жизнь еще не наступила, что она наступает во

взрослом возрасте, а детство — просто подготовительный период. Период ожидания. И я ждала, с нетерпением и недовольством, когда же он наконец завершится, этот период недееспособности и несвободы. Пребывая в таком промежуточном состоянии, я почти не прислушивалась к тому, к чему стоило бы прислушаться, и не ощущала потребности взаимодействовать с внешним миром.

Я искренне верила, что это желание скорее повзрослеть означает, что с возрастом я узнаю ответы на все терзавшие меня вопросы, что в будущем мои желания непременно исполнятся, но теперь, по прошествии лет, я жалею о прошедшей юности и по-прежнему жду перемен. Привычка ждать накрепко укоренилась в сознании. Кажется, я уже никогда от нее не избавлюсь. Может быть, даже в старости, когда мне самой станет ясно, что мои дни уже сочтены, я все равно буду ждать, когда же начнется обещанная настоящая жизнь.

1996

Реза переехал к нам. Однажды утром я вошла в спальню к маме и увидела их вдвоем в одной постели. Оспины-шрамы, покрывавшие все его тело, казались особенно жуткими в ярком утреннем свете. Я подумала, что он кошмарный урод, и так ему и сказала.

Он рассмеялся:

— Ты тоже не королева красоты.

Мне велели молчать, никому ничего не рассказывать, но вскоре соседи узнали, что у нас поселился Реза. В клубе начались толки. Мама отругала меня за то, что я выдала ее тайну.

— Как ты могла? — сказала она.

Реза был спокоен, как слон. Его совершенно не волновало, что о нем говорят. Он налил себе виски и дал мне попробовать. Я прикоснулась к поверхности едко пахнущей жидкости кончиком языка. Язык тут же отдернулся, сам по себе.

Внизу по улице мчались машины, гудя клаксонами. Во дворе толпились соседи. Они то и дело поглядывали на нас с Резой, перегнувшихся через перила балкона. Реза выпустил изо рта струйку

слюны и шумно втянул ее обратно.

Я рассмеялась. Он отпил виски.

Я заметила у него на виске шрам, тянувшийся от брови к волосам.

Я спросила, откуда у него шрам.

Реза потер его пальцем.

— Подрался в школе.

— Из-за чего?

— Из-за того, что в мире слишком много говноуродов.

Говноуроды. Говно и уроды. Мне хотелось его расспросить насчет этого слова — как оно пишется, слитно или через дефис, — и попросить еще раз употребить его в предложении. Я смотрела на его острые скулы, на синеватые тени, залегшие под глазами. Он рассеянно прикоснулся к своей промежности, запустил руку в карман и вынул крошечный бумажный кораблик, сложенный из газеты. Я держала его на ладони. Он был весь мятый, потертый на сгибах. Наверное, слишком долго пролежал в кармане.

Я сказала «спасибо», хотя мне показалось, что это какой-то глупый подарок.

Реза кивнул.

— Только не ставь его на воду.

Соседи по-прежнему толпились во дворе. Дород-

ный, лысеющий мистер Камахья, отец четверых детей, сердито смотрел на нас с Резой, задрав голову кверху и сложив руки на выпирающем животе.

Без единого слова Реза разжал руку, в которой держал стеклянный бокал с виски. Мистер Камахья предупреждающе вскрикнул, соседи бросились врассыпную. Бокал пролетел два этажа, ударился о мостовую и разбился вдребезги. Осколки брызнули во все стороны, как сверкающие конфетти.

Когда было не слишком жарко, мама с Резой ходили гулять. Иногда они брали на эти прогулки и меня. Реза повсюду носил с собой краски и угольные мелки. Мы с мамой наблюдали, как он рисовал на заборах, на стенах общественных зданий и частных домов. Рисовал или записывал короткие стихотворения с простейшими аллитерациями. В основном, совершенно бессмысленные, иногда очень смешные. Потом я долго катала на языке эти слова и фразы и аккуратно складывала их в копилку памяти.

Реза не подписывал свои творения.

— Мне давно расхотелось быть автором чего бы то ни было, — говорил он.

Выждав две-три недели, он возвращался к тем

стенам или заборам, которые уже были отмечены его стихами, и закрашивал собственные слова. Он закрашивал их белой краской, и она засыхала пятнами молока, разлитого по пожелтевшему городу. Иногда Реза целовал маму прямо на улице, у всех на виду. На ходу запускал руку ей под блузку, мял ее грудь и при этом смотрел ей в глаза. Мама всегда улыбалась и вся подавалась навстречу его руке.

Реза выстраивал в голове карту потайных уголков Пуны. Искал места, где ему будет спокойно. Он ненавидел шумные улицы, магазины и рынки, где люди сбиваются в толпы и пихают друг друга локтями. Он выискивал трещины, складки и щели в пространстве, о которых не знал даже сам город. Реза называл такие места точками отдохновения, где все замирает. Где город молчит.

Мама сказала, что он себялюбец, потакающий своим фантазиям и капризам. Ему это понравилось, и он снова поцеловал ее на ходу. Я шла за ними, чуть отставая. Да, он был эгоистом и грубым животным, но что-то во мне отзывалось на его слова. Они били без промаха, прямо в цель. Как будто я все это знала и раньше, а потом почему-то забыла.

Реза настойчиво уговаривал маму обменять-

ся одеждой. Сначала она наотрез отказалась, но потом уступила. Пока они были вместе, она уступала ему всегда. Его джинсы пахли чем-то соленым, они были заношенными, но жесткими, как задубевшая кожа. Его футболка была очень тонкой. Мама сказала, что чувствует себя голой.

— Как я выгляжу? — спросила она у меня.

Я невольно расхохоталась. Она села рядом со мной и крепко меня обняла. От нее пахло Резой, потому что она надела его одежду. В его запахе было что-то умиротворяющее. Я помогла маме сколоть булавкой пояс его джинсов, чтобы они с нее не свалились.

Реза знал, как правильно носят дупатту, и чувствовал себя совершенно свободно в женском наряде. Край розовой ткани натянулся у него на спине, как тугой парус. Увидев его, я закрыла ладонями рот. Он сгреб меня в охапку. Изображая тоненький женский голос, сказал, что я его сладкая доченька, и сделал вид, что сейчас будет кормить меня грудью. Мы с мамой смеялись до боли в ребрах. Я думала, у него будут влажные руки, но они были сухими, как камень. Я наблюдала с балкона, как мама с Резой выходят со двора на улицу. На них удивленно косились, но косились немногие. Большинство вообще ничего не заме-

тили. Я смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Мои ребра болели от смеха, но в душе закипали обида и гнев. Мама с Резой могли быть друг другом, а я была только собой.

Реза постоянно выспрашивал у меня, что я чувствую. Вовсе не потому, что ему был интересен мой внутренний мир. Ему просто нравилось искать различия между нами. Я знала, что чем подробнее я отвечаю на его вопросы, тем больше он получает сырья для производства отличий.

Я была толстой, а он худым. Я была смуглой, он — светлым.

Еда действовала на меня как наркотик. Ему самому, чтобы добиться такого экстаза, надо было закинуться запрещенными веществами.

Однажды, когда меня не было дома, он зашел ко мне в комнату и раскопал мои тайные списки. Он даже и не скрывал, что рылся без спроса в моих вещах. Он разложил на кровати раскрытые тетрадки и спросил, что это за странный шифр. Реза обращался с тетрадками бережно и почтительно, словно это были вещественные доказательства в каком-то важном расследовании, и я вдруг ощутила странную гордость за свои дневники.

Он указывал пальцем на цифры и буквы и спрашивал прямо, что означает та или иная запись.

Я, как умела, увиливала от ответов, но старалась ему не грубить. Мне казалось, что чем больше он спрашивал, тем сильнее укреплялся в уверенности, что мы с ним действительно очень разные: и в мыслях, и в интересах. Не просто разные, а прямо противоположные. Выявляя различия между нами, он как будто упрочивал свое положение в мироздании, словно, разгадывая меня, обретал уверенность в себе. Про себя я такого сказать не могла, хотя временами мне льстило его внимание.

Мне было приятно почувствовать себя интересной, пока однажды я не осознала, что его интерес чисто научный, и каждый подпункт в его мысленном дневнике наблюдений как бы прокалывал во мне крошечное отверстие, и я с каждым днем становилась все более дырчатой, а значит, и более уязвимой.

— Ты же не хочешь, чтобы он ушел, да? — сказала мама, когда я спросила, долго ли Реза пробудет с нами. Она была очень грустной, и я вдруг решила, что сделаю все, чтобы его удержать. И мы все будем счастливы.

Я неоднократно попыталась составить схему наших взаимоотношений, начертить некий мысленный треугольник, но у меня ничего не

получалось. Мы обе знали, что со мной Реза делится чем-то таким, чем не делится с мамой. Мне почему-то хотелось, чтобы так продолжалось и дальше, хотя мне это не нравилось.

— Знаешь, а ведь я его люблю, — сказала она однажды, когда мы были вдвоем. — Если я кого-то любила по-настоящему, то только его.

Однажды мы все втроем ездили в Гоа. Втроем на одном мотоцикле. Я сидела сзади. Реза знал дорогу. Собственно, он и вел мотоцикл. Мама сидела между нами. Ремешок сумки врезался мне в плечо. Мне было четырнадцать, и я занимала слишком много пространства. Дорога шла вдоль эвкалиптовых лесов. Деревья как будто срывались с места и уносились в обратную сторону. Потом начались бескрайние поля, зеленые и золотые. Вдали темнели холмы.

Когда мы поднялись на возвышенность, стало заметно прохладнее. Как в Панчгани. Я смотрела по сторонам, искала взглядом хоть что-то знакомое, но деревья росли густо-густо, их корни напоминали большие одеревеневшие луковицы.

Мы ехали без остановок, пока не увидели указатель к гостинице «Дом Кандолим». Пришлось немного пройтись пешком, чтобы найти вход. У хозяйки гостиницы был тихий, приятный голос.

Ее пышная задница колыхалась, даже когда она сама стояла спокойно.

Маленький мальчик лежал на кровати, болтая ногами и глядя в окно, забранное фигурной решеткой с цветочным узором. Я наблюдала за ним с крыльца. Он не обращал на нас никакого внимания. Я никогда не понимала, почему люди любят детей.

Рисунок на шторах был точно таким же, как на платье хозяйки. Она долго рылась в огромной сумке, кусала губы и щурилась, бормоча извинения.

Она достала из сумки ключ и отдала его Резе. Потом обняла меня.

— Меня зовут Пеппер, — сказала она. — А это мой сын. Ваша комната здесь. — Она указала на дверь. — Туалет дальше по коридору.

Снаружи донесся какой-то глухой низкий рык.

Я обернулась к окну, но увидела лишь темноту.

В номере горела лишь одна тусклая лампочка над кроватью.

Было влажно и душно. Повсюду соль и песок. В нашем крошечном номере была раковина, прикрепленная прямо к водопроводной трубе. Как в доме у бабушки. Потолок шел под наклоном,

повторявшим скат крыши. Из потолка торчал металлический штырь, на котором когда-то крепился вентилятор.

Мы не спали всю ночь, просто лежали втроем на широкой кровати. Мы с Резой по бокам, мама по-прежнему посередине. Утром мы увидели кокосовые пальмы и горы пластиковых бутылок. Какие-то люди медленно взбирались на пальмы, оборачивая их стволы тряпками. Плоды падали, словно бомбы.

Вдалеке, в просветах между пальмовыми стволами, виднелся океан.

На завтрак Пеппер приготовила яичницу с острой гоанской колбасой и жаренный в масле таро. Кости в засоленной рыбе размякли от маринада и сделались мягкими, как хрящи. За окном, забранном фигурной решеткой, маленький мальчик сидел перед крошечным телевизором и смотрел мультики про Тома и Джерри, сжимая в руке пластмассовый пистолет. Мальчик издавал радостный возглас каждый раз, когда Том ловил Джерри, и целился в мышонка из своего игрушечного пистолета, когда тот убегал от кота. После каждого выстрела он подносил пистолет к лицу и сдувал воображаемый дым.

Пеппер носилась туда-сюда между столовой

и кухней. Сквозь тонкую ткань ее платья просвечивали темно-коричневые соски. У нее была гладкая, чистая кожа, лишь на одном плече виднелся круглый шрам от прививки. Я набивала рот острой свиной колбасой.

На пляж мы поехали на автобусе, а по извилистой узкой тропинке спускались пешком. Когда мимо проносились мопеды, мама прижимала меня к стенам крошечных домиков, раскрашенных во все оттенки лилового и красного цветов. Было жарко, солнце светило вовсю, но мы шли, ориентируясь на морской бриз, на запах рыбы, доносившийся с рынка, на мужские и женские голоса.

Пляж был длинным и абсолютно пустым, за исключением единственной хижины, возле которой под пластиковыми зонтами от солнца сидели местные жители и приезжие хиппи. Золотистый песок так и манил к себе.

Но песчинки, набившиеся между пальцами ног, ощущались какими-то чужеродными. Это было не очень приятно, почти болезненно.

Какой-то мужчина из тех, кто сидели у хижины, окликнул нас и спросил, не хотим ли мы купить воды. Мама с Резой поблагодарили его и сказали, что, может быть, позже. На его светлой футболке

раньше была какая-то надпись, но теперь она полностью выцвела.

Он уселся на песок неподалеку от нас и раскурил трубку. Сказал, что его зовут Герман. На его потертом джинсовом комбинезоне почти не осталось металлических заклепок. Он был владельцем единственной хижины на пляже в Мандреме.

Реза разделся. Бросил одежду прямо на песок, где уже через пару часов она начала бы выцветать под солнцем. Мама тоже разделась и велела мне идти купаться. Я смотрела на растяжки у нее на животе, на обвисшую кожу на ее ягодицах.

— Раздевайся, — сказала она. — Что ты как маленькая?

Я наблюдала, как они входят в воду. Мама сделала глубокий вдох и нырнула с головой. Я смотрела на море, на волны, набегающие на берег. Мне было трудно поверить, что там, в этом море, сейчас моя мама. Мне представлялось, что она тонет, оставшись без воздуха. Когда она наконец вынырнула на поверхность, подняв фонтан брызг, у меня сжалось сердце.

— Иди к нам, Антара, — крикнул мне Реза. Он плыл на спине.

Я поднялась на ноги и стеснительно сняла шор-

ты. Потом футболку. Сначала я не хотела снимать белье, но решила, что теперь-то уже без разницы. Прикрывая руками грудь и промежность, я подошла к кромке прибоя. Мама с Резой наблюдали за мной. Мне казалось, что они так далеко. Мне до них никогда не доплыть.

Я оглянулась и посмотрела на наши вещи, раскиданные на песке.

Взгляд Германа переместился с моего тела на мое лицо.

— Я посторожу ваши вещи, — сказал он. — Не беспокойся.

У Германа была машина, и он отвез нас в Старый Гоа с его старинными зданиями и каменными арками, реликтами давно ушедших времен. Я ходила по городу, еле передвигая ноги, пряталась от солнца в тени и пила воду так жадно, что у меня раздуло живот.

В базилике Бон-Жезуш мы рассмотрели нетленные мощи святого Франциска Ксаверия.

Его тело лежало в стеклянном гробу, ссохшееся и сморщенное под белой, расшитой золотом мантией. Голова была целой, но не хватало куска щеки. Мама смотрела на его профиль. У него были невнятные, как бы приглушенные черты. Такие лица видятся в темноте, когда глаза еще не

привыкли к сумраку.

— У него нет руки, — сказал Герман. — Католическая церковь хотела забрать его в Рим. Но он здешний, он наш. Здесь его племя.

Я возразила:

— Его племя — католики.

Герман покачал головой:

— Нет, ему не было дела до их крещения и прочих таинств. Здесь все знают, что он отказался от католичества, когда приехал сюда. Он принял местную веру.

— Но он известный католический святой, самый известный в Индии.

Герман посмотрел на меня:

— Когда он умер, церковь хотела забрать его тело, но его не отдали. Местные встали за него стеной. Он был их спасителем. Именно он, не Иисус. Говорили, что кто-то из местных пытался съесть его тело.

Я посмотрела на сморщенное лицо, на как будто пожеванный нос.

— Вот как сильно его здесь любили. Через несколько лет после его смерти какие-то католики ночью пробрались в храм, отрезали ему руку и увезли ее в Рим. Прошло столько времени, а рана до сих пор кровоточит, — сказал Герман.

Я представила, как пульсирует кровь под коричневой пергаментной кожей.

— Девочка, ты любишь рыбу?

Герман обращался ко мне. Я пожала плечами.

— Вечером приходите ко мне на ужин, все вместе. Нажарю вам вкусной рыбки.

Мы пришли к нему вместе с Пеппер. Герман мне показал, как вынимать цельный скелет из морского леща. Он преподнес мне этот скелет, как жених преподносит невесте кольцо. Я провела пальцем по тонким косточкам. Рыбий скелет был похож на расческу с зубчиками с двух сторон.

— Я удивился, когда ты сегодня пошла купаться, — сказал мне Реза.

Я почувствовала, что краснею. Хорошо, что на улице было темно.

Он улыбнулся:

— Не надо стесняться. Ты красивая, как твоя мама.

Реза пил пиво и пальмовый фенни. Герман рассказывал о своих планах купить старый португальский дом на юге штата и превратить его в маленький спа-курорт. Он поддразнивал Пеппер, уговаривал ее поехать с ним. Она смеялась, словно стесняясь, и он пригласил ее на танец.

Мама курила трубку Германа. Мы наблюдали,

как крабы снуют по пляжу в темноте и прячутся в ямки в песке.

Я сидела в обнимку с мамой. Ее живот был очень теплым. Я ощущала это тепло даже сквозь мамину курту.

— У меня в животе, — сказала мама, — ты была меньше песчинки.

Я кивнула. Это был такой день, когда я поверила бы во все, что угодно.

Растянувшись на плетеной лежанке, Реза накинул на голову мамину шаль. Она закрыла ему лицо, и он жадно втянул носом запах.

Я знала, какой именно запах.

Реза наблюдал за мной, когда я пошла танцевать с Германом. В его объятиях я чувствовала себя невесомой. Герман медленно отклонил меня назад, и моя голова запрокинулась к небу. Я покосилась на Резу: вот он, здесь, вверх ногами — и по-прежнему наблюдает за мной. Небо над нами искрилось звездами.

Иногда по ночам мама приходила ко мне в спальню, ложилась рядом со мной и прижимала свои холодные ноги к моим ногам. Она играла с моими волосами и шептала мне на ухо, что я становлюсь настоящей красавицей.

Временами она просила меня показаться ей

голой и сравнивала свое тело с моим; ее грудь была больше моей, зато моя талия была тоньше. Она говорила, что все мои лучшие внешние качества — это временное явление, что с возрастом все изменится и к моим сорока годам я стану еще безобразнее, чем она.

Это было предупреждение, что мне не стоит быть слишком уверенной в собственной неотразимости.

Все течет, все меняется, и со временем моя красота померкнет, как померкла ее красота.

У меня было отчетливое ощущение, что маме нравилось говорить мне такие ужасные вещи, нравилось думать, что я тоже буду страдать, как страдала она сама — похоже, она находила какое-то извращенное удовольствие в мысли, что боль продолжает существовать и мне ее тоже не избежать.

Когда я вспоминаю те дни, у меня возникает вопрос: видела ли моя мама во мне ребенка, которого надо любить и беречь? Которого ей хотелось бы защитить? Или она всегда видела во мне соперницу, а значит, по сути, врага?

В те подростковые годы я почти возненавидела свою мать. Мне хотелось, чтобы она никогда не рождалась на свет, пусть даже ценой моего соб-

ственного существования, ведь если бы не было мамы, то не было бы и меня. Уже тогда я понимала, как прочно мы связаны друг с другом, и, если исчезнет она, неизбежно исчезну и я сама.

Реза прожил с нами почти шесть лет. Когда он исчез как-то утром, мы с мамой решили, что он пошел сдать в ремонт фотокамеру. В последнее время он был какой-то весь взвинченный, возбужденный. Говорил, что пора возвращаться на «боевой пост». В Америке падали башни. В Индии здание парламента стояло в осаде. Мы с мамой боялись смотреть новости по телевизору. Мы видели мир в руинах, а Резе виделось новое начало. Мир менялся, и Реза это понял раньше всех остальных: в скором времени любое насилие можно будет заснять во всех самых острых подробностях. Мы были парализованы страхом и пребывали в своих заблуждениях, а Реза презрительно фыркал, называл нас тупыми коровами и говорил, что нам надо понять, что мы живем в интересное время, исполненное возможностей.

Через несколько дней он ушел и уже никогда не вернулся.

Иногда мне кажется, что мама пошатнулась рассудком именно после его ухода.

Я всегда поражалась, почему мама так сильно

его любила и почему она продолжает его любить. Что в нем было такого прекрасного? Возможно, в памяти остаются не люди, а наши к ним чувства? С ним она была счастлива и теперь помнит лишь общее ощущение счастья, а всякие мелочи уже не имеют значения.

Реза Пайн никогда не был моим наставником. Он был небрежным, неряшливым. В нем напрочь отсутствовала внутренняя дисциплина, необходимая для того, чтобы создавать настоящее искусство.

И в любом случае я была той, кто я есть, задолго до его появления в нашей жизни.

* * *

Мы решаем, что бабушка с мамой будут жить вместе. По крайней мере, какое-то время. Они обе согласны, но мне все равно как-то тревожно.

Я звоню бабушке. Мама вроде бы держится, но бабушка отвечает на мои расспросы уклончиво. Говорит, что мне надо сосредоточиться на собственной жизни и что все хорошо. Я ей верю, пока мамина домработница не звонит мне посреди ночи и не сообщает испуганным голосом, что мама снова бродит по ночам, озадаченная и растерянная, и не понимает, кто она такая. Похоже,

бабушкин дом еще больше сбивает ее с толку.

— Где я? — часто спрашивает она. — И где Антара?

Она ищет меня. Ей кажется, она забыла забрать меня из школы. Она одевается второпях и мчится на улицу, темную и пустынную. Только бездомные, спавшие на расплющенных картонных коробках, сонно моргают, почесываются и таращатся на нее, странную женщину, потревожившую их покой. В тех пространствах, где она пребывает, нет различия между ночью и днем и логика времени не властна над ее страхом.

Иногда мама сердито кричит, что она хочет, чтобы мы вернулись; она знает, что мы вместе, и требует, чтобы мы вернулись, — но когда ее спрашивают, что значит «мы», она говорит не обо мне и Дилипе. Она говорит о Резе Пайне.

Губернаторы съехали из квартиры, когда слухи о неверности жены разошлись по всей Пуне. Теперь у нас новые соседи, англичане. Семейная пара с маленькой дочкой и филиппинской няней, приехавшей с ними из Сингапура.

Жена приходит знакомиться, приносит пластиковый контейнер с домашним печеньем, которое испекла няня. Ее зовут Элейн, а дочку — Ланой. У них обеих явный акцент лондонских кокни. У

девочки голубые глаза. До сих пор я была уверена, что такие голубые глаза могут быть только у Кали Маты и больше ни у кого. Глаза, наводящие на мысли о любви, тенистых лесах и запахе гниющей плоти. Элейн осветлила волосы под цвет волос дочки, но у корней они темные. Буквально с порога она спрашивает у меня, собираюсь ли я завести ребенка.

Я легонько качаю головой.

Элейн смеется и говорит, что с дочкой ей повезло. Она и хотела именно дочь. Дочери — это мамино счастье и радость, но только не в подростковом возрасте, когда они превращаются в мелких стервозин. Слово «стервозин» она произносит одними губами, чтобы не услышала Лана, но Лана наблюдает за матерью и все видит. Я улыбаюсь малышке, машу ей рукой, и она застенчиво улыбается в ответ.

Элейн гладит дочку по голове, словно гордится своим ребенком, уже в таком малом возрасте умеющим вести себя в обществе. Она говорит, что старается баловать дочку и проводить с ней побольше времени, пока есть возможность, потому что потом все изменится, начнутся мальчики и свидания, косметика и наряды, и отец поведет дочь к алтарю. Потому что так принято: мать не

ведет дочь к алтарю, это право отца. И родительский танец на свадьбе дочь тоже танцует с отцом. Всегда только дочь и отец. Мать уже как бы и не нужна, ее как бы нет вовсе. Пропала без вести. «Помогите найти человека».

Я слушаю и киваю, а потом говорю, что я совершенно не разбираюсь в вопросе отцов и детей, потому что росла без отца.

В комнату входит Дилип и вручает Лане розовый резиновый мячик. Я даже не знала, что у нас есть такой мячик. Я удивленно смотрю на Дилипа. Лана улыбается ему искренне и широко. Элейн благодарит нас и приглашает заходить в гости.

— Ты все время такая серьезная и напряженная, — говорит Дилип, когда Элейн с Ланой уходят. — Иногда надо быть проще.

Я опять начала рисовать, но этого мало, чтобы скоротать дни, и я подолгу гуляю, спасаясь от скуки. Иногда захожу на обед к Элейн. Лана играет поблизости, разговаривает сама с собой на разные голоса. Элейн улыбается, с умилением глядя на дочь.

— Только дети говорят сами с собой.

Я наблюдаю, как они целуют и щекочут друг друга, и гадаю, каким будет мой собственный

ребенок. Мне всегда казалось, что у меня будет мальчик, хотя мне, конечно, хотелось бы девочку. Я почему-то уверена, что моя привязанность к дочери будет сильнее и глубже, чем к сыну. Хотя, может быть, любовь к дочери будет слишком пронзительной, слишком острой. Я не знаю, сумею ли выдержать эту боль. Возможно, я просто не создана для таких ощущений.

У Ланы розовый ободок в волосах и носки с единорогами. Она ковыряет в носу и ест собственные козявки.

Я каждый день навещаю маму, пока Дилип на работе. Я делюсь с ней секретами, которыми не делюсь больше ни с кем, потому что я знаю, что она все равно ничего не запомнит.

Я говорю ей, что меня бесит привычка Дилипа класть шоколад в холодильник.

Каждый вечер после ужина он отламывает себе маленький кусочек замерзшего шоколада.

Говорит, ему нравится смена вкусов.

Когда я спросила, зачем он кладет шоколад в холодильник, у него наготове был целый список ответов:

— Так он дольше хранится. Мама тоже хранит шоколад в холодильнике. Мне больше нравится, когда он холодный. А тебе разве нет?

Он вручил мне начатую охлажденную плитку. Я прочитала состав на обертке.

Соевый лецитин. Фундук.

Я пожала плечами, словно мне все равно. Но мне, конечно же, не все равно. Холодный шоколад труднее ломается. Причем ломается со щелчком. Он дольше тает во рту. Его не съешь втихаря или в больших количествах. В детстве я постоянно таскала шоколад из буфета, и никто ничего не замечал. С шоколадом, хранящимся в холодильнике, такой номер точно бы не прошел.

— Возмутительно, — говорит мама.

Я ей рассказываю, как однажды собрала сумку, взяла свой паспорт и драгоценности и ушла от Дилипа. Я спустилась во двор, просидела в машине весь день, кусая пальцы до крови, а к ужину вернулась домой. Он ничего не узнал.

Дилип начал жаловаться на мигрени, общую слабость и синдром беспокойных ног. У него потеют ладони, если он выпьет хотя бы один бокал красного вина. Я записала его к врачу. Дилип сдает общий анализ крови, и результаты не радуют. Ярко выраженная анемия, низкий уровень витаминов D и B_{12}. Врач глядит на меня, ждет объяснений.

Я спрашиваю, точно ли его симптомы объяс-

няются обычной нехваткой витаминов. Врач, в свою очередь, осведомляется, в каком районе мы живем. Я называю ему наш адрес. Он говорит, что его племянница живет в том же доме и что Дилипу нужно принимать витамины.

Я интересуюсь насчет Дилиповых потных ладоней.

— Что именно вы хотите узнать?

— Помогут ли витамины избавиться от потливости?

Врач кладет руки на стол и говорит, что, если я не доверяю ему, я могу обратиться к другому специалисту. Который наверняка скажет мне то же самое.

По дороге домой мы заезжаем в аптеку. Все полки уставлены флаконами и пузырьками с разноцветными логотипами. Я беру первый попавшийся и пытаюсь прочесть, что написано на этикетке.

— Я бы вам не советовал брать эту марку, — говорит аптекарь.

— Почему?

На этикетке нарисован сурового вида мужчина, опирающийся ногой о бревно. Кажется, это именно то, что нужно Дилипу.

— В такой форме выпуска B_{12} почти не усва-

ивается.

Я тупо смотрю на него.

— Здесь он не метилированный.

Дилип трет глаза.

— Вот, — говорит аптекарь, снимая с полки другой флакон. Сам флакон темно-лиловый, на этикетке — разноцветные нити ДНК, похожие на полевые цветы. — Это средство гораздо лучше.

Я спрашиваю у аптекаря, зачем выпускать B_{12} в такой форме, которая почти не усваивается. Он говорит, что не знает. Смотрит куда-то вдаль, мимо меня и Дилипа. Он явно не расположен вести беседу.

Проходит неделя, и я понимаю, что ненавижу все в нашем доме.

Не посоветовавшись с Дилипом, я покупаю себе новый стол с новым стулом и снова сажусь за рисунки. В первый день я ужасно потею, и рука пачкает бумагу. Потом становится проще, но ненамного. У меня ощущение, что я уже далека от портрета, но я не знаю, как подступиться к чему-то новому. Рисование занимает всего лишь час в день.

Я просматриваю свои списки идей и альбомы с эскизами для когда-то задуманных проектов, но теперь они кажутся совершенно бессмысленны-

ми. Они больше не актуальны, они высохли на корню, не успев расцвести.

Крошечное пространство моей творческой жизни, отгороженное от мира и чужих голосов, сегодня меня угнетает. Мне хочется вынести свои рисунки из этой замкнутой комнаты и засесть за работу где-нибудь в другом месте, где вокруг будут люди с их идеями и телами, открытыми к взаимодействию.

Я звоню Пурви. Мы с ней не общались уже несколько месяцев, и она, кажется, удивлена моему неожиданному звонку. Она говорит, что скучает по нашим прогулкам в клубе. Сейчас она учится играть в бридж и маджонг и, пока меня не было, завела себе новых друзей.

Я говорю, что не знаю, что делать дальше. Кажется, я потеряла фантазию.

Она отвечает, что моя работа, с ее точки зрения, вовсе не требует какой-то особой фантазии, ведь я все время копирую один и тот же портрет.

Я объясняю, что имела в виду совершенно другую фантазию: ту фантазию, которая измышляет реальность, где мои работы имеют смысл. Но дни, залитые солнечным светом, кажутся бесконечными. Время как будто остановилось.

Я советуюсь с Пурви. Может, мне надо устро-

иться на работу?

Когда она отвечает, в ее голосе явственно слышится улыбка:

— Сейчас непросто найти работу, а у тебя много лет не было нормальной работы.

— Да, ты права.

Я старательно изображаю беспечность, но понимание пробивает меня, словно дрожь. Если завтра мне нужно будет устроиться на работу, еще не факт, что у меня что-то получится. Если Дилип меня бросит, я останусь без средств к существованию.

Кстати, с чего я решила, что он меня бросит?

Но если все-таки он меня бросит и мне придется вернуться в дом матери, на что я буду жить? Дедушки уже нет, а бабушка точно не сможет меня содержать. Где я буду работать и кем?

Может быть, Пурви могла бы поспрашивать своих новых друзей, вдруг кто-то из них сможет мне посодействовать в трудоустройстве? Я мысленно пробегаюсь по списку своих знакомых и вычеркиваю всех тех, кто питает ко мне явную неприязнь.

А ведь есть еще мама. Мне надо будет заботиться и о ней. Еще неизвестно, какие суммы нам придется тратить на ее лекарства, когда ей станет

еще хуже.

Я бегу к сейфу, который Дилип установил в кладовке, и набираю код. Дверца бесшумно распахивается, и я принимаюсь перебирать содержимое.

Ювелирные украшения в бархатных коробочках. Наши фамильные драгоценности. Что-то от моей семьи, что-то от семьи Дилипа.

Часы, подаренные ему дедом. Его серебряная погремушка из детства.

Золотые монеты. Пачка американских долларов.

Сколько все это стоит сейчас? Наверное, надо сходить к оценщику, но уже три часа, а Дилип приходит с работы в половине шестого.

Я размышляю обо всех принятых мною решениях, что привели к этой точке в пространстве и времени. Интересно, сколько из этих решений я приняла лишь потому, что так было проще?

Я опять звоню Пурви и прошу дать мне номер ее ювелира, чтобы он оценил стоимость моих ценных вещей.

Она говорит, что я совсем одурела от скуки.

— Может, тебе пора завести ребенка?

Ребенка.

Пурви смеется, я тоже смеюсь, наполняю мол-

чание звуком. Ребенок. Ребенок займет много времени и пространства, ребенок заполнит пустые дни. Ребенок необратимо привяжет меня к Дилипу, превратит меня из жены в мать. Тогда я, может быть, стану священной. Дилип уж точно меня не бросит, если я стану матерью его ребенка. Ему никогда не захочется меня бросить.

Меня накрывает волной облегчения.

Вечером я ложусь в постель голой, и, когда мы занимаемся сексом, я шепчу ему на ухо, что можно кончать прямо в меня, потому что у меня скоро начнутся месячные, хотя это неправда.

Элейн дала мне контакты британского психолога, специализирующейся на помощи людям, которые ухаживают за родственниками с болезнью Альцгеймера и прочими формами деменции. Мы договорились о времени, и я позвонила ей по телефону.

Я сказала ей, что не знала, что у психологов есть такая специализация. Она ответила, что люди, осуществляющие уход за больными, тоже нуждаются в помощи и заботе. Потом я увидела, что то же самое написано на главной странице ее сайта. Когда она это сказала, мне хотелось засмеяться, но у нее был очень серьезный голос.

Она считает, что я еще даже не начала осо-

знавать опасность, которая мне угрожает. Моя собственная связь с реальностью тоже рвется.

Сначала все во мне восстает против этой идеи, но постепенно она обретет смысл.

— Из-за маминой болезни у меня начались проблемы с мужем, — говорю я. — Иногда я ненавижу семейную жизнь. Иногда мне начинает казаться, что я превращаюсь в собственную мать.

— Реальность всегда создается в соавторстве, — отвечает психолог. — Не удивительно, что сейчас у вас есть ощущение, будто все вокруг рушится. Когда кто-то нам говорит, что все не так, как мы себе представляли, в мозгу что-то щелкает, переключается, и у нас появляются подсознательные сомнения. Так бывает далеко не всегда, но достаточно часто. Почему, думаете, некоторые люди вдруг испытывают духовное пробуждение? Обычно это происходит под подспудным влиянием окружающих. Когда все вокруг заряжено безумием, это заразно.

— Вы хотите сказать, мамино заболевание заразно?

— Нет. Хотя, может быть, да. В каком-то смысле. Мы активно создаем наши воспоминания. И создаем их совместно с кем-то еще. Мы постоянно перекраиваем собственные воспоминания, ори-

ентируясь на то, что помнят другие.

— Врач говорит, что мамина память уже ненадежна.

— Она ненадежна у всех. Прошлое представляется живее настоящего.

Я спрашиваю почему, но не вслушиваюсь в ответ. Мы продолжаем говорить друг другу вполне очевидные вещи, те вещи, которые мне и хотелось услышать от кого-то другого.

Я поняла, что беременна, еще до первой задержки месячных. Хотя с виду еще ничего не заметно, я чувствую, как раздаюсь вширь, как меня распирает изнутри. Какое-то время я пытаюсь одной силой воли сдержать это внутреннее расширение, памятуя по прошлому опыту из подросткового возраста, что быть крупной и рыхлой означает быть жалкой и слабой и утратить контроль над собой. Я ощущаю знакомый страх. Да, я сама этого захотела, но, может быть, это была ошибка. Я отмечаю на календаре день последнего срока, когда еще можно сделать аборт. Я наблюдаю, как проходят дни, пока не кончается *тот самый* день, и пути назад уже нет. Лишь тогда я расслабляюсь, метафорически выдыхаю и смиряюсь с текущей динамикой бытия: во мне растет новая жизнь, которую я не могу контролировать,

и мы пребываем во власти друг друга.

И есть еще кое-что: от меня пахнет. К концу дня мне приходится принимать ванну. Мои подмышки воняют, выделения на трусах издают резкий запах. Меня это бесит. Я моюсь по нескольку раз на дню, из-за чего у меня начинается грибковая инфекция. Постоянно чешусь и принимаю антибиотики. Постоянно меняю диету: то одни фрукты и овощи, то вообще никаких фруктов и овощей. Все без глютена, все без молочных продуктов. Детское питание в стеклянных баночках. Но ничего не помогает. Видимо, дело не во мне, а в плохой экологии. Я словно клетка в гипотетической чашке Петри, и из меня извлекают запах в интересах гомеостаза. Я убеждаю себя, что это естественно.

Начальник Дилипа приглашает нас в ресторан японской кухни. Очень пафосный и дорогой ресторан, единственный в Пуне японский ресторан такого класса. Рыба сырая, иногда опаленная на огне. Лежит на слепленных вручную комочках липкого риса. Ломтики рыбы похожи на смиренные, безропотные языки. Дилип ест овощной салат, а я беру рисовый шарик с рыбой. Чувствую, как он тает на языке. Крахмал, жир и соль. Рыбья плоть распадается на кусочки, и на мгновение

мне кажется, что мой рот растворяется в соленой слюне. Наверное, вкус получается таким насыщенным, потому что язык соприкасается со своим подобием. Ощущения странные: что-то среднее между поглощением и поцелуем. Дилип наблюдает, как я глотаю, и беспокойно постукивает по столу свободной рукой.

Иногда я пытаюсь представить иные сценарии завершения маминых романтических отношений с папой. В моих недавних фантазиях причиной их расставания становлюсь я сама. Тара говорит мужу, что она от него уходит, что она нашла своего гуру и носит под сердцем его ребенка. Папа смотрит на мамин огромный живот, и его разрывают самые противоречивые чувства. Он хочет ее, эту женщину, свою жену, и в то же время она ему отвратительна — отвратителен ее раздутый живот, в котором зреет ребенок от другого мужчины. Он смотрит на мамино красивое лицо и понимает, что не сможет остаться с ней. Именно из-за этого существа у нее в животе.

Психолог, к которой я ходила пару лет назад по настоянию Дилипа, говорила, что развод родителей — когда мама ушла от отца и отец дал нам обеим уйти — очень сильно повлиял на мои отношения с мужчинами. Мне показалось, что это

как-то уж слишком просто. Так я ей и сказала.

— К тому же в расставаниях есть смысл, — добавила я.

Психолог что-то записала у себя в блокноте и попросила меня объяснить, что именно я имею в виду.

Я сказала, что, если ты остаешься, в этом нет привлекательности и тайны побега. Остаться — значит проявить благоразумие, в каком-то смысле смириться и успокоиться тем, что есть. Поверить, что ничего другого уже не будет. Но разве мы, люди, не созданы для поисков и открытий? Разве людям не свойственно всегда стремиться к чему-то большему?

— Я не виню свою мать, — сказала я психологу.

Хотя я, конечно, ее винила. Во всем и всегда.

— В детстве вы не боялись, что она вас бросит? Теперь вы не боитесь, что становитесь точно такой же, как ваша мать?

Я перестала ходить к психологу, потому что она задавала слишком много вопросов. По идее, она должна была просто сидеть и слушать, ведь именно в этом и заключается ее работа, разве нет? Воспоминания о страхе быть брошенной — это еще не так страшно. Гораздо страшнее — все эти вопросы, оставшиеся без ответа, но накрепко

засевшие у меня в голове. Я подспудно искала ответы — не для психолога, а для себя, — и каждый раз, когда я приближалась к ответу, меня одолевали другие сомнения. Я хорошо представляла, какой ужас охватил физиков, когда был открыт микромир, где не действуют законы Ньютона. Ужас от одного осознания, что ты слишком далеко зашел. Наверняка многие из этих физиков мечтали забыть увиденное и вернуться обратно в простые, понятные времена. Нас губят вопросы. Даже сам знак вопроса всегда казался мне странным: этакий крюк на руке кровожадного чудища из кошмарного сна.

2002

Я стала художницей в тот день, когда меня приняли в колледж искусств. И не важно, что я ни разу не посетила занятия. Оценки в моем школьном аттестате были далеко не блестящими, но приемной комиссии Бомбейского колледжа изобразительного искусства понравились мои рисунки.

Мама пыталась отговорить меня ехать в Бомбей. Деньги на эту поездку я попросила у бабушки.

Профессор Кархат был живописцем и куратором моей будущей группы. Он буквально опешил, когда я сказала, что не пишу красками.

— Вы поступили на факультет живописи и рисунка.

— Я понимаю, — сказала я. — Но я не смогу и писать красками, и рисовать графику. Я плохо справляюсь с многозадачностью.

Он не желал ничего слушать. Существует единая учебная программа, рассчитанная на всех. Никто не будет подлаживаться под запросы отдельно взятой студентки. К тому же живопись и

рисунок не так уж и далеки друг от друга. Если мне нравится рисовать, то, наверное, понравится и писать красками. Тем более что в живописи всегда есть место рисунку. Те же подготовительные эскизы. Так сказать, арматура, костяк.

Я кивнула:

— Вот именно. Меня интересует как раз костяк. Кости — это основа, они вне времени. Археологи будущего найдут именно кости и по ним будут судить о нас нынешних.

— Пока не попробуешь, не узнаешь, — сказал профессор. — Как говорится, не окунешься — не поплывешь.

Но я знала. Я знала, что мне не выплыть. Я сказала, что тоже не буду подлаживаться под программу. Во мне нет такой гибкости.

Я вышла из его кабинета, держа под мышкой папку с моими рисунками. Прошла мимо Художественной галереи Джахангир. Студенты устроили импровизированный вернисаж прямо на тротуаре у входа, продавали свои работы. Я опустилась на колени, чтобы получше рассмотреть картину одного парня. Умело выполненный портрет, написанный жирными, размашистыми мазками. Человек на портрете словно раздулся под весом масляных красок. В нем было что-то гротескное.

Казалось, что холст густо забрызган кровью.

Мне надоело таскаться с тяжелой папкой, и я отдала ее ребятишкам, сидевшим на крыльце музыкального магазина. Для того, чем мне хотелось бы заниматься, никакие учителя не нужны.

Я не сказала бабушке с дедушкой о своем решении и не вернулась в Пуну. Я сняла комнату у старухи, жившей рядом с пожарным депо в Колабе. Днем я читала о современном искусстве и составляла коллажи из репродукций и фотографий. Подолгу рассматривала старые снимки, которые Кали Мата собрала для меня в альбом. Вырезала предметы и лица, которые либо не помнила, либо не желала помнить, и превращала их в пятна черной пустоты. Наклеивала изрезанные картинки на листы и зарисовывала пустые пространства, чтобы образы стали такими, какими, с моей точки зрения, им следует быть.

По вечерам я одалживала у квартирной хозяйки хлопчатобумажное сари и ходила на открытия выставок и вечеринки в художественных галереях. Иногда заводила знакомства, беседовала с людьми. Но в основном просто потягивала вино и вбирала в себя белизну пустых пространств.

Потом я узнала, что для того, чем я занималась всю жизнь, есть название. Арт-интервенция.

Десять лет я занималась арт-интервенциями. Я достаточно быстро поняла, что мне нравится. На что откликается мое сознание. Живопись — лишь мимолетное впечатление. Графика виделась мне системой координат. Земля, стены, небо. Все, что есть в мире реального и в то же время непостижимого. Город менялся практически каждый день: мосты, небоскребы, новые отели. На месте снесенных кварталов маленьких португальских домов строились огромные торговые центры.

Всем вокруг хотелось строить. И только мне — разрушать.

Теперь эти доводы кажутся мне смехотворными. На самом деле все было проще: я не знала ничего другого, кроме рисунка. Рисовать у меня получалось само собой. Так же естественно, как дышать. Мое восприятие до сих пор не настроено на распознание влажной сложности цвета. Я смотрю на мир и вижу простые карандашные линии.

* * *

Мама снова живет у нас, в моей студии. На этот раз с ней приехала Кашта, она спит на полу рядом с маминой односпальной кроватью. Ей поручено следить за мамой и днем, и ночью. Я вынесла из

студии почти все свои вещи и разложила их по картонным коробкам. Дилип спрашивает, где мы поселим ребенка.

Я говорю:

— В нашей комнате.

— А моя мама? — Его мама собирается приехать на роды. — Где она будет спать?

Я говорю, что можно выкинуть один диван и купить раскладную кровать. Ему явно не нравится мое предложение, но он не спорит.

Я сажаю маму на диету из различных жиров. Я где-то читала, что мозг очищается, сжигая жиры. И мутнеет, сжигая сахар. Я слежу, чтобы мама принимала пробиотики и периодически делала кофейные клизмы. Я сурова и непреклонна — тиран над ее пищеварением. В каждый прием пищи она съедает как минимум по одному импортному авокадо, и я избавилась от всего сахара в доме.

По утрам мы проверяем уровень маминых кетонов и записываем результаты в тетрадку. Если ее болезнь связана с каким-то сбоем метаболизма, с некоей проблемной митохондрией, с неполадками апоптоза, мы все исправим. Вместе мы найдем решение.

Я слежу, чтобы мама принимала настойку из растительных экстрактов. Корень астрагала и

барбарис. Улучшение заметно буквально через три дня. Ее затуманенный инсулинрезистентный мозг вроде бы проясняется. Она интересуется, как я себя чувствую и не тяжело ли мне носить ребенка.

Я плачу, когда она задает этот вопрос. Я не единожды ей говорила о своей беременности, и каждый раз она удивлялась, словно это для нее новость.

Я говорю, что ей надо устроить сеанс голодания. Она улыбается.

Я подсчитала, что запасов жира в ее организме хватит на двести дней. У мозга будет достаточно времени, чтобы избавиться от своей пагубной зависимости от сахара.

— То есть мне теперь двести дней ничего не есть?

Я смеюсь.

— Нет, не так долго. Не волнуйся, мам. Вместе мы справимся. Теперь ты со мной. Я о тебе позабочусь.

В тот вечер, лежа в постели, я открываю альбом для эскизов, впервые за много недель. Рисую по памяти облачный мозг, который мне рисовал мамин врач в прошлом году. Облако плывет по темному небу. Под ним я снова рисую ту сцену,

которую показывала врачу. На этот раз все логично и связано. На этот раз врач не нашел бы, к чему придраться.

Я начинаю со схематических человечков из палочек, потом добавляю доспехи, обозначающие принадлежность к их армии: лейкоциты против активных форм кислорода. На земле лежат тела павших — клетки, которые надо убрать. Раненые солдаты машут белыми флагами, сигнализируя о своем состоянии. Их тоже следует утилизировать, они уже бесполезны. Кровавая бойня призывает аутофагическую машину, вылезающую из дыры в атмосфере: мифическое многорукое существо. На заднем плане — весь остальной организм, пребывающий в мире и благодати. Органы продолжают функционировать, метаболизм царствует благосклонно. В далеком море разбросаны островки Лангерганса.

Аутофагия в переводе с древнегреческого означает «самопоедание». Я продолжаю рисовать, вкладывая в рисунок все свое отчаянное желание, чтобы именно это и происходило в мамином теле. Я надеюсь, что все же сумела найти решение, до которого не додумался больше никто; что мои непрестанные изыскания указали мне путь к маминому исцелению.

У меня урчит в животе. Из груди рвется жар, но не доходит до рук и ног. Меня бьет озноб.

Утром я просыпаюсь под слепящим солнцем. В комнате жарко и душно.

Только потом я вижу маму. Я оборачиваюсь к Дилипу, к его половине кровати. Там, где он спал, только мятая простыня. Я вся вспотела, у меня саднит в горле. Я чувствую запах каких-то курящихся благовоний. В животе громко урчит, и я вспоминаю, что ничего не ела со вчерашнего обеда.

Я спрашиваю:

— Где Дилип?

Мой голос хриплый со сна.

— На работе, — отвечает мама. Она полностью одета, на ней туфли для улицы, словно она собирается выйти из дома. Она стоит ко мне спиной, роется в коробках, где лежат мои вещи, которые я забрала из студии.

Идеальный порядок нарушен. Мои сокровища валяются на полу.

Разноцветные стеклянные флаконы.

Монеты, выпущенные до обретения независимости. Вырезки из газет и журналов.

Приступ паники оборачивается головокружением, когда я пытаюсь подняться с постели.

Мама спрашивает:

— Откуда он у тебя?

— Что? — Я тяну шею, но не вижу, что она держит в руке.

— Этот снимок. — Она оборачивается ко мне и трясет фотографией три на пять[4].

Я чувствую, как кровь приливает к щекам. Это из-за духоты? Я не хочу сейчас говорить о фотографии. Разве я ее не уничтожила? Я не хочу в это ввязываться.

Я говорю:

— Я не знаю.

По ее лицу видно, что она мне не верит. В ее взгляде присутствует ясность, которой не было очень и очень давно. Диета, лечебное голодание или, может быть, фотография разбудили ее память.

Мама прекрасно осознает, что мы стоим на краю некоего откровения, после которого все необратимо изменится и уже никогда не будет прежним.

— Откуда у тебя этот снимок? — повторяет она.

Ее глаза распахнуты до предела. Она вцепилась в фотографию двумя руками.

---

[4] Примечания: 4
Имеются в виду дюймы (прим. ред.)

Я говорю:

— Я не помню. Может быть, я его и сняла.

Она медленно качает головой и кладет карточку на кровать. Кожа у Резы точно такого же цвета, как мое постельное белье. Он глядит на меня с фотографии, которую мама так крепко сжимала в руках, что чуть не помяла.

— Ты его не снимала. Потому что его сняла я. В тот единственный раз, когда он разрешил мне взять в руки его фотокамеру. Его драгоценную фотокамеру. — Она тычет пальцем в яркую киноафишу на заднем плане, в клетчатую рубашку Резы, в сигарету, которую он заложил за ухо.

— Значит, я его нашла, этот снимок. Нашла его дома и взяла себе.

Мама садится на краешек кровати и разглаживает смятую простыню.

— Когда он ушел, этот снимок еще был на пленке. Он не успел проявить пленку.

Мама переворачивает фотографию. На обратной стороне стоит оттиск: «Мехта и сыновья. Мумбаи».

Мама проводит пальцем по надписи и глядит на меня.

— Его проявили и напечатали в Бомбее.

Я делаю глубокий вдох, но она не дает мне за-

говорить.

— Я знала, что ты от меня что-то скрываешь. Поняла это сразу, как только увидела твою выставку.

2003

Вино отдает чем-то кислотным.

Осушив пластиковый стаканчик, я наливаю себе еще вина из бутылки с закручивающейся крышкой.

Антропофагия. В бессвязной статье от куратора выставки, написанной по трафарету прямо на стене, антропофагия определяется как каннибализм, давно ставший одной из важнейших концепций бразильского искусства. Ассимиляция и усвоение ведут к созданию чего-то нового. Самобытного. Художник, чья выставка открывалась сегодня, буквально на днях вернулся из своей резиденции в Белу-Оризонти.

Другой художник, с которым мы курим на крыльце, называет выставленные работы вторичными. Я указываю на грамматические ошибки в тексте. Мы хихикаем, и он достает из кармана уже забитый косяк. Сейчас я буквально помешана на Поле Теке. Меня особенно привлекает тот факт, что его как бы и не существует. Он появлялся лишь периодически, причем не как основное событие, а как пометка, сделанная на

полях чьей-то призрачной рукой.

Другой художник кивает и начинает рассказывать о своей преподавательнице из Кейптауна. Она читала курс семиотики и всегда красила губы гранатово-красной помадой. Она с горячностью говорила о том, каким странным, чужим и далеким ей представляется наше поколение, одержимое телевидением и оральным сексом. Она утверждала, что минет как культурное явление принадлежит исключительно новому времени. «Вашим бабушкам даже в голову не пришло бы взять в рот гениталии мужа», — говорила она со смехом.

Художник еще что-то рассказывает, но я не слушаю. Я вижу знакомое лицо.

Вижу знакомую улыбку.

— Реза.

— Какая встреча! Что ты здесь делаешь?

Он сжимает меня в объятиях. И лишь когда он отстраняется, я чувствую запах виски и пота.

Дальше все происходит стремительно. Я ловлю на себе его пристальный взгляд. Мы у него дома, в его крошечной двухкомнатной квартире. Мы выпили еще по стакану вина на открытии выставки. Он предложил уйти вместе, и я согласилась.

Он стоит у кухонной раковины, в которой гро-

моздится гора грязной посуды. Он говорит, что сегодня его домработница не приходила. Он ни словом не упоминает о жене. Я гадаю, что, может быть, под «домработницей» он подразумевает жену, но не уточняю, не спрашиваю. Боюсь разрушить хрупкие чары, сплетенные алкоголем.

Во всей квартире царит разруха. Меня это тревожит, но ощущение даже приятное. Знакомое дело: тревожиться из-за Резы.

Он предлагает сходить развеяться.

— Куда?

Он говорит, что познакомит меня со своими друзьями. Я киваю и вдруг понимаю, что маму он никогда не знакомил со своими друзьями. Это приятно: сделать что-то такое, чего не делала она.

Его друзья — самые обыкновенные люди, ничего выдающегося в них нет, но мне хочется, чтобы они произвели на меня впечатление. У Намиты кольцо в носу, но не в ноздре, а в перегородке между ноздрями. Она трогает его кончиком языка и шевелит туда-сюда. Она старше меня, но ненамного. С ней Каран, ее бойфренд. Он не выходит из дома без музыки и наркоты. Он постоянно чешет бороду и надувает губы, когда впадает в задумчивость.

Мы едем на тайную загородную вечеринку, где-то в джунглях под Бомбеем. Тратим на дорогу почти два часа. Едем на взятой в прокате машине по незнакомым дорогам, высматриваем в темноте самодельные указатели к нужному дому. В доме нет электричества, но Каран подсоединяет стереосистему к автомобильному аккумулятору. По рукам ходят бутылки с водой, смешанной с сахаром и кокаином. Реза предупреждает меня, что пить надо маленькими глотками.

От грохота музыки дрожит земля. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не зажать уши руками. Я чувствую себя скучной, унылой клушей. Чувствую себя белой вороной. Чувствую себя чужой на этом празднике жизни.

Намита танцует одна. Волосы развеваются у нее за спиной, колечко сверкает в носу. Она кружится на месте, тонкая, гибкая, как тростник, облитая светом и медом, липкая, сладкая, как само происхождение мира. Она танцует, и вся земля и деревья вокруг покрываются тонкой медовой пленкой.

Двое мужчин наблюдают за ее танцем, ходят кругами, не сводя с нее глаз. Они маршируют, притоптывают ногами, как солдаты в ожидании команды. Она хватает их за руки, привлекает к

себе и исчезает, скрытая за их телами. Промельк красного, промельк розового. Я прищуриваюсь. Я потеряла ее из виду. Намита — всего лишь пустое пространство. Призрак, вызванный из сновидений.

Я уже видела это раньше. Я уже бывала здесь.

Песня меняется, или мне кажется, что меняется. Я буквально физически ощущаю, как у меня раскрываются уши. Ночь становится ярче, по земле разливается мягкое свечение. Трава колышется. На каждой травинке дрожат капли росы, капли зеленого сока. Среди трепетной зелени, среди камней растут цветы. Бутоны кружатся, словно пропеллеры. Я наблюдаю за их кружением, пока они не отрываются от стеблей и не уносятся в небо.

Полная луна в небе как лужа ртути, кипящей жизнью. Крошечные лунные человечки глядят сверху вниз на танцующих на Земле, что-то кричат на своем языке и снова ныряют в серую ртутную пену.

Меня трогают чьи-то руки, черные, как паучьи лапки, забираются под рубашку, расползаются по моему животу. Реза что-то шепчет мне на ухо, но я вижу лишь его руки. Черные руки, вроде бы человеческие, но не совсем.

— Выпей воды, — говорит он.

Я смотрю на его клыки, на его руки, превратившиеся в паучьи лапы. Джунгли исполнены сочной зелени, музыка снова меняется, небо становится еще темнее. Я вижу змею в траве неподалеку. Мы глядим друг на друга. Я хочу заговорить, но слова не приходят. Я потеряла дар речи. Змея ползет прямо ко мне — крупная, взрослая, — помахивает головой, скалит клыки. Она ползет по земле, под землей, над землей, пробирается у меня между ног, и на мгновение мне кажется, что я рожаю змею. Я встаю и иду следом за ней, в самую гущу танцоров. Змея то свивается кольцами, то распрямляется во всю длину, и длина все прирастает и прирастает. Теперь она кружит вокруг танцующих, и мы все заперты в этом круге. Змея вдруг замирает, смотрит мне прямо в глаза, а затем исчезает, превращается в ров с черной блестящей водой.

— Антара, выпей воды.

Не помню, как и куда мы оттуда ушли, но просыпаюсь я рядом с Резой. Звуки все еще липнут к поверхности моей кожи. Мы с ним одни, но кажется, будто в комнате не протолкнуться. Он зажигает свечи и керосиновые лампы, и мы наблюдаем, как тысячи крылатых созданий сле-

таются к нам из ночной темноты.

Насекомые бьются в разбитые окна, находят трещины в стеклах и проникают внутрь. Они кружат вокруг ламп, роятся в пятнах света, чертят в воздухе искрящиеся траектории своих полетов — мотыльки и жуки. Их кружевные скелетики стучат о стекло. Стекло — жестокое изобретение. Из него получается безжалостная тюрьма.

Утром повсюду валяются трупики крошечных мотыльков. Они проникли внутрь и погибли в теплом замкнутом помещении. Воздух густой и тяжелый, мое сердце колотится громко-громко. Я вытряхиваю мотыльков из волос, из складок во влажных простынях. Они лежат кверху лапками, мертвые и некрасивые в ослепительном свете дня. Некоторые прилипли к свечам, увязли в расплавленном воске, будто в смоле. Я пытаюсь запомнить их смутные контуры в глубине плотного воскового тумана. Они, наверное, были еще живы, когда воск затвердел. Когда их мир навсегда сделался белым.

Реза смотрит на насекомых.

— Наверное, это похоже на смерть от удушья, — говорит он.

Я вдруг понимаю, что он полностью голый.

Я хочу отвернуться, но он целует меня, его рот,

как рыболовный крючок, тянет меня обратно, и мне становится почти нечем дышать.

На открытие выставки мы приходим, держась за руки. На нас косо поглядывают те, кто в курсе его прошлых скандалов и моих будущих притязаний.

Меня приглашали принять участие в этой выставке, но я отказалась. Ее организатор известен тем, что собирает вокруг себя никому не известных голодных художников — и если кому-то потом удается добиться успеха, он требует, чтобы они отдавали ему бесплатно свои работы в качестве благодарности за то, что он их открыл. Также он славится своим пьянством и привычкой называть всех женщин сучками.

Реза останавливается перед огромной картиной. На холст наклеены страницы, вырванные из книг. Рама сделана из корешков переплетов. Текст почти нечитаемый, но Реза упорно пытается его прочесть. Это страницы из Маркеса, из его сборника рассказов, в переводе на португальский, французский и нидерландский.

Экспозиция организована совершенно убого. Все как попало раскидано по пространству и не складывается в единое целое. Проект выдохся еще на стадии подготовки, художники потеряли

интерес: они отдали галерейщику свои старые работы, более-менее подходящие под задуманную им концепцию.

Сам галерейщик допивает уже третий бокал виски. Я поздравляю его с открытием, он отвечает слегка заплетающимся языком. Его дыхание будит во мне некий подсознательный страх.

Я помню, как он предложил мне участвовать в выставке. Конверт с приглашением пришел по почте — личное обращение владельца галереи, билет в большое будущее, — письмо, написанное от руки на листочке, вырванном из блокнота. Идея для выставки родилась из отрывка из «Ста лет одиночества», книги, о которой я даже не слышала и уж тем более не читала: «Человек забывает слова и знает единственный способ, как удержать их в слабеющей памяти — записать на бумажках названия всех предметов, которые его окружают, и прилепить эти бумажки к соответствующим предметам. Пометить все ярлыками. Накрыть свой мир мантией слов и тем самым спастись от бессмысленной пустоты, где утрачены все имена. Он настойчиво воплощает свою задумку, и только потом до него доходит, насколько тщетны его усилия: со временем он забудет значения букв, и вся работа окажется

бесполезной».

Когда я возвращаюсь в квартиру, где снимаю комнату, хозяйка вручает мне листочек со списком всех, кто мне звонил, пока меня не было. Буквы опасно кренятся влево, словно каждая смотрит в небо. Это почерк левши, переученной на правшу. В списке четыре строки, но всего одно имя. Кали Мата звонила четыре раза за последние несколько дней.

Я комкаю лист в кулаке. Закрывшись в комнате, рву его на маленькие кусочки.

Я ненавижу Кали Мату. Не знаю почему, но ненавижу.

Ненавижу вопросы, которые она задает по телефону. Хорошо ли я питаюсь. Есть ли у меня деньги. Я ненавижу рассказывать ей о своих успехах в искусстве. Ненавижу подбирать слова. Я не хочу ничего объяснять.

Не хочу слушать о Пуне. Я для того и уехала, чтобы больше о ней не слышать.

Я ненавижу, что ее имя преследует меня повсюду, написанное на обрывках бумаги. День за днем, вновь и вновь. Иногда Кали Мата, иногда тетя Ева. В то время как мама вечно отсутствует. Мне было бы проще, если бы я сумела избавиться от нее окончательно, по крайней мере на словах

— говорить всем, что мама давно умерла. Что ее уже нет.

Так я и делаю. Потихонечку распространяю эту лживую выдумку, и вскоре она разгорается лесным пожаром. Мне соболезнуют, меня жалеют. Однажды Реза услышал, как я говорила о маминой смерти его друзьям. Он долго-долго смотрел на меня. У меня в животе все бурлило. Я уже заготовила более сложную версию лжи — исключительно для него. Но он ни о чем не спросил. Просто снова уткнулся в книгу. Я мысленно выдохнула с облегчением, но его безразличие почему-то меня задело.

У Резы есть несколько поддельных читательских билетов. Он берет книги в библиотеках, но никогда их не читает. Он открывает их наугад и вымарывает на странице отдельные слова или целые предложения. Потом оставляет эти библиотечные книги где-нибудь в городе: прямо на тротуаре посреди улицы, на лавочке в парке, в руках у кого-то из нищих.

Каждый раз, когда я от него ухожу, я краду что-нибудь из его дома. Библиотечную карточку. Мотыльков, застывших в свечном воске. Его фотографию три на пять, с загнутым уголком. Единственную фотографию Резы, которую я су-

мела найти в его коллекции снимков, не считая свадебных портретов.

— Ты в кого-нибудь влюблена?

Сейчас ранний вечер. Мы лежим на его кровати. Лето в самом разгаре, мне томно и сонно.

Я говорю:

— Нет. А ты?

— Я во многих.

Я научилась любить мелкие шрамы, испещрявшие его кожу. Я пыталась представить его влюбленным, но, поскольку сама никогда ни в кого не влюблялась, моим фантазиям явно недоставало деталей и красок.

Во сне он дышит ртом, иногда что-то бормочет. Я прижимаюсь к нему, утыкаюсь лицом в его ключицу. Мои волосы намокают от его слюны. Я медленно погружаюсь в дрему.

Я просыпаюсь лицом в его коже, как в темной яме. У него на горле чернеет щетина. Он не спит, это понятно по его неглубокому дыханию. Солнце стоит еще высоко в небе и светит прямо в окно, из-за чего кожа на внутренней стороне моих век превращается в калейдоскоп.

В комнате душно. Мне трудно дышать.

Пальцами я измеряю расстояние между нами. Сквозь тонкую ткань его рубашки видны темные

участки, заросшие волосами, и брюшко от виски, который он потихоньку потягивает с утра до ночи. Он наблюдает, как я придвигаюсь к нему, сокращая разделяющее нас пространство. Между нами нет принуждения. Мы оба не делаем ничего, чтобы заполнить молчание. Я точно знаю, где нахожусь: где-то посередине между желанием и сомнением.

Я обнимаю ногой его бедра.

Он убирает какую-то соринку из уголка моего глаза и целует меня. Его слюна всегда отдает металлическим привкусом. Я царапаю темные складки у него на локтях. У него очень жесткая, плотная кожа.

Мы с Резой спим уже несколько месяцев. Мы никогда это не обсуждаем, но спим регулярно. Реза не признает никаких предварительных ласк. Когда он в меня входит, мне всегда больно. Мы целуемся, чтобы заглушить хрипы у меня в горле.

Помнится, я удивилась, когда Реза нас бросил. Удивилась тому, как глубоко мы вобрали его в себя и как он потом испарился, не оставив следа. Может быть, его не было вовсе? Может быть, мы его просто придумали? Неужели такое возможно, чтобы человек занимал собой каждый миг твоей жизни, а затем так всецело исчез?

Я искала следы, но их не было. Неужели у нас не осталось ни одной его фотографии? Мы с мамой не слишком любили фотографироваться, но у нас все-таки были какие-то фотографии. И вот тогда я поняла, что он всегда был за камерой и снимал все, что видел, но мы никогда не снимали его самого.

Когда он исчезает во второй раз, в Бомбее, через четыре года после нашей случайной встречи на открытии выставки, я вовсе не удивляюсь.

Надо быть совсем дурой, чтобы удивиться.

Я ношу в себе грусть и уныние, но недолго. О моей грусти никто не знает.

Я возвращаюсь в Пуну без диплома колледжа. Занимаюсь странными арт-проектами, которые беспокоят мою семью. В первый год после возвращения я работаю над скульптурой из засушенной кожуры манго, законсервированной в формалине. На ней я печатаю копии банкнот в сто рупий. В качестве сопроводительных материалов снимаю видеоролик, в котором я чищу манго и съедаю их в один присест. Вся работа идет насмарку из-за ошибки при смешивании химических растворителей. У меня на руках появляется сыпь и не проходит почти два месяца.

* * *

Когда я заканчиваю свой рассказ, мама прижимает руки к груди, словно пытается прикрыть рану. Почему-то мне становится легче. Словно гора падает с плеч. У меня громко урчит в животе.

— Это все? — спрашивает она. — Я тебя предупреждаю: мне надо знать все. Иначе я расскажу Дилипу, что ты за человек и что означают твои рисунки. Я всегда знала, что мой ребенок сломает мне жизнь. *Ты* сломаешь мне жизнь.

У меня в груди нарастает тревога, сердце бьется о ребра, как о прутья клетки. Но я сама словно парализована. Захвачена в застывшем мгновении. Мама дышит сбивчиво и учащенно, у нее по лицу течет пот. В комнате невыносимо жарко.

— Скажи что-нибудь, сучка, — говорит мама. — Или ты вдруг онемела? — Ее голос срывается всхлипом, и вот она уже плачет, закрыв руками лицо.

Я смотрю на нее. Как она вошла ко мне в спальню? Обычно я запираю дверь. Почему я сегодня так крепко спала и не слышала, как ушел Дилип? Почему он не запер меня, уходя? Почему я никак не избавляюсь от своей мании накопительства, от своего скопидомства по отношению к вещам

и людям?

Зачем я пригласила ее к себе в дом, если мне хочется лишь одного: никогда больше ее не видеть? Почему я не сказала Дилипу правду, когда мне представился случай? Почему я не выбросила фотографию? Мне казалось, что я ее выбросила. Я была совершенно уверена, что избавилась от нее сразу после того разговора с Дилипом. Или я лишь подержала ее в руках и бездумно убрала обратно в коробку? Неужели мне так тяжело с ней расстаться?

Даже если Дилип все узнает, что с того? У нас скоро будет ребенок. Бояться мне нечего. Я в безопасности. Материнство — самое безопасное из всех известных мне состояний. Наша семья — моя крепость.

Но отношения между людьми — очень хрупкая вещь. Я вспоминаю, как муж каждый вечер сидит за столом, прямо напротив меня, и разочарованно хмурится, наблюдая через отражение в зеркале, как я ем мясо.

Я представляю, что будет, если Дилип узнает, что я каждый день пристально вглядываюсь в лицо другого мужчины: человека, которого я любила, пусть даже сперва он любил мою мать. У Дилипа просто не будет выбора.

И мама тоже могла бы быть великодушнее. Могла бы проявить чуть больше сочувствия к дочери, которая столько всего от нее натерпелась, но все равно продолжает о ней заботиться. Я ей все рассказала. Разве этого мало? Я рассказала ей все без утайки, поделилась с ней тайной, которой не делилась больше ни с кем. Никогда. И она все равно мне угрожает. Угрожает разрушить мой брак. В моем собственном доме. Сидя на моей супружеской кровати. В присутствии моего еще нерожденного ребенка.

Я смотрю на свои руки. Они дрожат.

Где-то снаружи грохочет отбойный молоток. Звук врывается в комнату, как рой рассерженных пчел. Мне хочется либо закрыть окно, либо выброситься из окна. Я просто сижу, погружаясь все глубже и глубже в свои мрачные мысли. Все вокруг замедляется, даже грохот отбойного молотка отодвигается куда-то вдаль. Если выброситься из окна, я потеряю все. И себя, и своего ребенка. Мама по-прежнему плачет. А что, если столкнуть *ее* из окна?

Я открываю рот, шумно втягиваю в себя воздух. Я в безопасности.

— Как ты могла? — шепчет она сквозь слезы.

— Хорошо, — говорю я и резко встаю. Грохот

крови в ушах нарастает. Не надо было так резко вставать. У меня все плывет перед глазами. Я должна себя обезопасить. Выбора у меня нет.

Мама испуганно вздрагивает и тоже встает.

— Что хорошо? — Она шмыгает носом.

— Я расскажу тебе все, что хочешь. — Я беру со стола телефон, нахожу в контактах номер шофера. — Но сначала нам надо позавтракать. Я беременная, если помнишь.

Она смотрит на мой живот и кивает.

Мы выходим в гостиную.

Я накрываю на стол. Печенье, хлеб, джем. Я велю домработнице сбегать к соседям, попросить взаймы чашку сахара. Через двадцать минут наш шофер звонит в дверь и вручает Айле знакомую красную картонную коробку.

Я говорю:

— Дай сюда.

Айла послушно отдает мне коробку.

Перерезав красную ленточку, я открываю крышку. Под листом промасленной бумаги лежат две дюжины мини-пирожных из кондитерской «Мазорин». Я пододвигаю коробку поближе к маме. Она берет два пирожных, слипшихся вместе. Кладет их в рот и вздыхает.

Ее падение в пропасть происходит мгновенно.

После обеда я кладу сахар ей в чай, хорошенько размешиваю. У Дилипа телефонная конференция с американским офисом, и он приходит с работы поздно. Мама даже не замечает, как он вошел. Она улыбается и глядит в одну точку.

* * *

Привратник поливает растения во дворе. Гниющие на земле листья выпускают танины; лужи темные, как крепкий чай.

Я хватаюсь за перила балкона. Боль разрывает меня изнутри.

Я уже собрала сумку. Дилип что-то кричит из прихожей. Кашта становится передо мной на колени, пытается надеть на меня сандалии, но у меня так распухли большие пальцы, что они просто не входят в кожаные колечки.

Мама мне улыбается, моя счастливая беспамятная рыбка. Она стоит у окна, переминается с ноги на ногу. У меня мелькает мысль, что ее опасно оставлять одну, без присмотра. Я звоню бабушке и прошу ее приехать к нам.

Мы не смогли дозвониться шоферу. Дилип останавливает моторикшу. У него черные борозды вокруг глаз, все руки в татуировках. Он приветствует нас, вскинув руку над головой.

Привратник оборачивается в нашу сторону, вода из шланга брызжет мне прямо на юбку. Холодные струйки стекают по теплой, туго натянутой коже у меня на лодыжках.

Я смотрю на свой необъятный живот. Он шевелится — ребенок ворочается внутри. Он уже не принадлежит мне всецело, этот ребенок. У него уже есть свое собственное разумение. Я пытаюсь представить себя без огромного живота. Я уже и забыла, как это бывает. Что теперь будет со мной, с моим телом? В нем образуется дырка, как в пончике? Эта дырка останется навсегда? От этой мысли мне становится дурно. Или, может быть, не от мысли, а от вернувшейся боли. Я вдруг понимаю, что мне не хочется выпускать его из себя. Ребенок должен остаться во мне навсегда. Еще пару секунд я смотрю на свой дергающийся живот и едва успеваю высунуться из кабинки, чтобы меня не стошнило прямо на колени.

И вот все закончилось. Мне сообщают, что у меня девочка. Вернее, я слышу, как они сообщают об этом друг другу. Доктор — медсестрам, медсестры — Дилипу.

— Девочка, — шепчут они.

Они разговаривают друг с другом так, словно меня здесь нет. Но все равно почему-то вполго-

лоса. Наверное, чтобы не побеспокоить меня. И только потом до меня доходит, что здесь, в этой же комнате — мой ребенок. Они шепчутся из-за ребенка, не из-за меня. По лицу Дилипа непонятно, счастлив он или встревожен.

Они все наблюдают за мной, когда я впервые беру на руки свою дочь. От нее пахнет чуть сладковатыми околоплодными водами. Она такая умиротворенная и спокойная — она пробилась сквозь тесную тьму и вышла на свет. Пусть даже на свет галогеновой лампы, в которую бьются мотыльки.

Я держу дочь на руках и не чувствую ничего особенного, но, когда ее забирают, мне ее не хватает.

Они все ждут, что я что-то скажу. Я знаю, что надо выразить радость. Если не выразить радость, все решат, что я расстроилась из-за рождения дочери. Дочери никому не нужны. Дочь — лишний рот и обуза в семье. Лишняя головная боль.

Я хочу их уверить, что я не расстроилась, но чувствую, что все равно не сумею изобразить бурный восторг. Наверное, я просто устала. Или все дело в непрестанном желании запихать этот крошечный сверток обратно в себя, как мясо — в колбасную оболочку.

Я хочу есть.

Я смотрю на сморщенное личико дочери, потому что не знаю, куда еще мне смотреть. У нее круглая голова. Она вообще ни на кого не похожа, но, когда закрывает глаза, напоминает спящего котенка. Я не особенно люблю кошек. Как и людей, похожих на животных.

Я пытаюсь улыбнуться, но глаза у меня совершенно пустые. Если я что-то и чувствую, то лишь облегчение. Облегчение, что боль наконец прекратилась. Все, что будет теперь, будет лишь отголоском той боли.

У малышки проблемы. Она не может схватиться ротиком за сосок. Мне никто не говорил, что такое бывает. Я уже начинаю думать, что я — первая и единственная в мире женщина с нестандартными сосками. Медсестра пытается мне помочь. Засунув в карман пачку салфеток, она разминает мне грудь. Она невысокая, пухленькая, очень смуглая. Ходит в белом халате с синими пуговицами. Она заплетает волосы в тугую косу, но непослушные кудряшки все равно выбиваются отовсюду. Она мнет мою грудь, обвисшую мертвым грузом.

Я даже не знаю, что тяжелее: собственно роды или кормление грудью. Да, боль от родовых схва-

ток не имеет аналогов на земле, но она все-таки прекращается. А кормить дочку грудью мне предстоит еще долго.

И это лишь первый день.

Мои груди разбухли и стали в два раза больше обычного. Мое влагалище разворочено, как поле боя.

Это произошло в одночасье или я всегда была чуть кривоватой? Перед глазами расходятся тонкие линии, похожие на серебристые ниточки паутины. Может быть, они тоже были всегда, просто раньше я их не замечала? Мои соски потемнели и стали огромными, точно блюдца. Кожа трескается и кровоточит. Перед сном я перетягиваю грудь бинтом, чтобы она не терлась о ткань ночной рубашки.

На следующий день малышка спит в плетеной люльке рядом с моей кроватью. У моей дочери черные волосы и чуть желтоватая кожа из-за легкой желтушки. Я боюсь, что она родилась хиленькой и будет часто болеть, но мне не хватает смелости спросить у врачей. А вдруг мне ответят «да»? И я окажусь виноватой. Когда малышка зевает, ее рот открывается так широко, что видны края розовых десен.

Приходит Пурви, приносит подарки. Игрушки

для девочек и для мальчиков. Говорит, что накупила побольше всего, чтобы быть готовой к любому исходу. Она принесла и одежду, в красивых свертках из блестящей фольги. Размеры указаны на этикетках: от шести месяцев до года.

— Ей на вырост, — говорит Пурви.

Дилип шутит, что до на выроста еще надо дожить. Никто не смеется. На самом деле меня обижают такие шутки. Я вовсе забыла о муже, пока он не заговорил. Он единственный, кто обошелся без боли. Единственный непострадавший. Мы с малышкой изранены и помяты. Вид у него очень самодовольный. Он явно гордится собой. Или, может быть, нами. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не поинтересоваться, что он сделал для нас обеих.

Малышка хмурится, морщит лобик. Я тоже хмурюсь и морщу лоб. По крайней мере, мне кажется, что я хмурюсь. Я трогаю лоб. Да, вот хмурые складки. Наверное, малышка почувствовала мое раздражение. Или она нахмурилась первой?

Интересно, видит ли она сны и что ей снится? Во сне она поджимает губы, совсем по-старушечьи. Она немного похожа на мою маму, немного похожа на мою бабушку. Начало жизни так сильно напоминает ее конец. В детском личике

дочери видна решимость дожить до глубокой старости.

Свекровь приезжает на следующий день. Она уже позвонила астрологу, сообщила ему дату и время рождения малышки. Астролог вычислил буквы, благоприятные при выборе имени.

— А и «ва», — говорит мне свекровь. — Такие же буквы, как у тебя, Антара.

Я качаю головой. Это не мои буквы. Мама назвала меня Антарой, чтобы даже в имени я была ее полной противоположностью. У моей дочери должны быть совершенно другие буквы. Не такие, как у ее матери.

Мама смеется. Я совершенно забыла, что она стоит у меня за плечом.

— Антара, — говорит она. — Я назову свою девочку Антарой.

Все молчат. Я оборачиваюсь к ней с улыбкой:

— Я здесь, мам.

Я смотрю на ее лицо. Оно как бы светится изнутри. Интересно, где мама сейчас — в каком времени и пространстве, — и когда она снова вернется к нам, в свое тело, в котором почти и не держится ее сознание.

— Есть много хороших имен, — продолжает свекровь как ни в чем не бывало. — Анджали,

Амбика, Аниша.

— Нет. Мне не нравится.

— Ее надо как-то назвать. Нельзя же всегда называть ее просто малышкой.

Малышка. «Малышка» мне нравится. Такое простое, бессмысленное имя собственное, подходящее для любой девочки на Земле. Жалко, что Кали Маты уже нет с нами. Она выбрала бы самое лучшее имя для моей дочери. За годы в ашраме она дала имена многим санньясинам: звучные имена, составленные из слов на санскрите, из нанизанных друг на друга слогов, призывающих каждого к его судьбе.

Да, очень жаль, что Кали Маты нет с нами. Она полюбила бы эту малышку. Она точно знала бы, что надо делать. С ребенком. Со мной. С мамой.

В палату входит медсестра с синими пуговицами.

— Вам нужно отдохнуть, — говорит она мне. Кожа у нее под носом — красная, воспаленная. Наверное, у нее сопли. Я не хочу, чтобы она прикасалась ко мне. И совсем не хочу, чтобы она прикасалась к моей малышке.

Я пытаюсь закрыть глаза, но не могу оторвать взгляд от окна. Небо залито бледным огнем. Еще не так поздно, и краски мира еще проступают

сквозь серые сумерки. Мягкий вечерний свет льется в палату. Где-то снаружи, далеко-далеко, шумные улицы и клубы смога раскалены добела.

* * *

Кали Мата четыре дня пролежала мертвой у себя в квартире, пока ее не нашли. Ей было почти семьдесят лет. Слуга, который должен был приходить каждый день и помогать ей с уборкой, не приходил несколько дней. Зато потом требовал зарплату за прошедший месяц, но мы ему не заплатили. После смерти Бабы Кали Мата ушла из ашрама. Сказала, теперь ей там нечего делать. Но я слышала, что санньясины похоронили ее черные одежды под старым баньяном рядом с залом медитаций.

Год назад мы с Дилипом наконец-то доехали до Пушкара, чтобы развеять прах Кали Маты. Когда я заглянула в коробку, меня поразило, что от такой крупной женщины осталась лишь крошечная горстка пепла. На вид пепел был чистым, и мне захотелось втереть его себе в кожу.

Дилип покачал головой. Откуда у меня такие мысли? Я не знала откуда. Я не могла объяснить, почему мне так хочется, чтобы она стала частью меня.

В ту зиму в Пушкаре было прохладно. Старый нищий в аллее у храма Брахмы поделился со мной чиллумом.

Дилип этого не одобрил.

— Неужели тебе не противно? Ты видела его зубы?

Храм был оранжевым, как закатное солнце, и в вечерних сумерках казался кровавым. Трава в чиллуме оказалась забористой. Я пошла следом за белой коровой, бредущей по улице. Эта корова никогда не знала ярма и свободно бродила по городу. На узких улочках старого города, где двери наглухо забиты досками, а в заброшенных хавели обитают бродяги и обезьяны, толпы почтительно расступались, пропуская меня и корову.

Это было по-настоящему?

Или это была просто инсценировка для нас?

Да, трава была крепкой. Возможно, по этим же улицам когда-то ходила и Кали Мата, молодая вдова, бездетная мать. Вечером стены домов отливали синим, синева отражалась от белых коровьих боков радужными переливами, превращая ее в сказочное существо: то ли небесное, то ли водяное. Я попыталась это сфотографировать, но снимки не передавали цвета. Корова улеглась на краю пристани у реки, и мы тоже спустились

к воде. Мне хотелось еще раскуриться травой, но пришлось удовольствоваться дымным воздухом.

Уличный музыкант что-то наигрывал на сантуре. Его жена была одета в гагра-чоли с заляпанным грязью подолом и безрукавку, застегнутую на все пуговицы. Ее голову покрывал край дупатты. Она пела какую-то печальную песню. Их ребенок проснулся, выглянул из деревянной тачки. Посмотрел на мою невозмутимую корову и повернулся к матери. Она присела на корточки, не прекращая петь, присела так низко, что едва не коснулась земли ягодицами. Малыш потянул за ворот ее блузки и обнажил ее смуглую грудь. Я увидела ее соски, похожие на синяки. Мальчик встал перед матерью и принялся сосать ее грудь. Женщина прижала его к себе, и ее голос дрогнул.

Мальчик обернулся к нам и улыбнулся, обнажив мелкие острые зубы. Потом опять повернулся к матери и укусил ее за грудь. Она вскрикнула от боли, но продолжила петь. Она оттолкнула ребенка и влепила ему пощечину. Я притронулась к собственной щеке. Мальчик снова улегся в тачку.

* * *

Я устала от собственного ребенка.

Она слишком многого требует, ей всегда всего мало.

Я превратилась в какой-то конвейер. Каждая часть совершенно второстепенна и нужна лишь для того, чтобы выполнять определенную работу. Когда дочь кричит, моя грудь наполняется молоком. Молоко льется само по себе, пачкает мне одежду. В зеркале я разглядываю свой живот, темный и сморщенный, точно засохший финик. Когда в комнату входит Дилип, я прикрываю живот руками.

Невозможно представить, о чем он думает, когда смотрит на меня. Я стараюсь по возможности не оставаться с ним наедине. Он в восторге от дочки и не выносит ее криков.

Я постоянно не высыпаюсь. Теперь я жалею о том, что потратила столько лет непонятно на что. Я могла бы как следует отдохнуть. И сделать столько всего интересного. Но вместо всего интересного делала то же, что делаю и теперь. Сижу дома. Таращусь в стену.

Я никогда не придавала значения хорошим манерам, но этот ребенок не церемонится вообще

ни с кем. Грубая мелкая стервозина как она есть. Вежливых пауз у нас не бывает.

Быстро ли растут дети? Этим вопросом я задаюсь постоянно и мысленно отмечаю вехи взросления, до которых еще далеко. Когда ребенок начнет ходить. Когда он научится самостоятельно есть. Самостоятельно мыться. Когда у ребенка начнется своя жизнь. Когда он уйдет в большой мир.

Бывают дни, когда во мне нарастает невероятная нежность, и я чувствую, что никогда ее не отпущу, мою девочку.

Малышка кажется такой крошечной и беззащитной. Дилип был прав: это чудо, что мы до сих пор ее не убили. Она существует изо дня в день, от одного дня к другому; ее жизнь такая настойчивая, убедительная и в то же время такая хрупкая. Я всегда думала, что дети рождаются в мир родителей, но, может быть, и обратное тоже верно. Я вижу себя в своей дочери. Словно через ее рождение я обрела двойника.

Иногда я обижаюсь, когда кто-то пытается мне помогать: когда Кашта или свекровь купают малышку. Когда Дилип качает ее на руках, чтобы она перестала плакать. Меня возмущает, что никто не дает моей маме подержать мою дочь,

ее внучку. Я настойчиво требую, чтобы маме тоже давали заботиться о малышке. Когда мне возражают, я жутко злюсь.

Когда мама чуть не роняет малышку, я все-таки уступаю.

Свекровь испуганно глядит на Дилипа.

Вспоминая день родов, я возмущаюсь, что пуповина была перерезана без моего разрешения. Меня никто не поставил в известность, мне никто не сказал о моих материнских правах. Я бы оставила пуповину подольше. Я где-то читала, что это полезно для здоровья ребенка — как можно дольше сохранять связь с матерью уже после рождения.

Малышка царапает себе лицо. Собравшись с духом, я стригу ей ногти. В первый раз у меня дрожат руки. Меня бросает в холодный пот. Малышка спит. Я собираю обрезки ее ногтей. Они лежат у меня на ладони, как мелкая белая стружка. Я храню эти обрезки на тумбочке у кровати, пока свекровь их не выкидывает.

— Ты и так сумасшедшая, а будешь копить этот мусор, так и вовсе свихнешься, — говорит она.

В ту ночь я размышляю, как бы вернее прикончить свою свекровь. Через неделю я снова стригу дочке ногти, заворачиваю обрезки в носовой

платок и прячу их в шкаф.

Да, это безумие. Я чувствую, как оно подступает. С каждым днем чуточку ближе. Но это правильное безумие. Необходимое для выживания видов.

* * *

Проходят недели.

При свете дня ничего нельзя скрыть. Все на виду: все опасности, все страхи. Запах прокисшего молока, зеленые вены у меня под глазами. В раннем утреннем свете я вижу, что у меня поредели волосы. Вдоль пробора белеют крупинки перхоти. Я не успеваю умыться. Иногда умываюсь лишь ближе к вечеру. Провожу языком по зубам и ощущаю налет.

Однажды утром меня будит грохот.

Малышка упала с кровати. И орет, словно ее убивают.

Дилип врывается в комнату. Мы с малышкой обе в слезах.

Я говорю:

— Я ее уронила, она упала.

Он кивает. Шарит глазами по полу, ищет виновную плитку.

— Я не знаю, смогу ли справиться, — слышу я собственный голос. Сижу, раскачиваясь взад-вперед. Вытираю нос рукавом дочкиной распашонки. Прижимаю малышку к себе.

— Я не знаю, хочу ли справляться, — думаю я про себя.

И понимаю по лицу Дилипа, что произнесла это вслух.

— Тише. Все хорошо.

Свекровь тоже здесь. Я не заметила, как она вошла в комнату. Она отбирает у меня малышку, держит в крепких, надежных руках.

— Знаешь, — говорит свекровь, — когда я была в твоем возрасте, у меня не было домработницы, мне никто не помогал. На мне был весь дом. Там, в Америке. Уборка, готовка, стирка… пока дети маленькие, стирать приходится чуть ли не каждый день. И я делала все сама. К тому же, не забывай, у меня был капризный, придирчивый муж. Его надо было кормить трижды в день и обязательно чем-то горячим. Но я как-то справилась, да? Посмотри на Дилипа, он до сих пор жив. Я не металась туда-сюда и не роняла его с кровати. И мне еще было легко. Только двое детей. Представь, как справляются люди, у которых их шестеро!

Она продолжает рассказывать, как ей трудно

жилось. Эти истории передаются от матерей к дочерям еще с начала времен. В них содержится некая исконная мораль. Это как бы обряд посвящения. Но эти истории также пронизаны чувством, так или иначе знакомым всем матерям. Чувством вины.

Свекровь пытается контролировать мое питание. Из-за этого я ненавижу ее еще больше. Она добавляет топленое масло мне в рис и поит меня какими-то настойками, чтобы «убрать газики» из моего молока. Мне кажется, что от этих микстур меня пучит еще сильнее. Я всю ночь пускаю ветры. Дилип делает вид, что он ничего не замечает.

Я подозреваю, что это такая специальная хитрость, чтобы отвратить от меня мужа и дочку. Мне хочется, чтобы свекровь поскорее уехала. Но как-то утром я меняю малышке подгузник и вижу, что он испачкан чем-то красным. Мои вопли будят весь дом.

— Ну, а чего ты хотела? — говорит свекровь. — Вчера вечером ты ела свеклу. Я тебе говорила, что лучше не надо. Но кто меня слушает?

После этого случая я послушно ем все, что свекровь кладет мне на тарелку. Каждое утро я съедаю за завтраком большую ложку густой

пасты из семян пажитника. От меня постоянно воняет потом, причем очень едким, и я мою подмышки по сто раз на дню.

Пурви приходит без приглашения, даже не сообщив, что она собирается в гости. Приносит подарки и сласти. Она держит малышку, пока ей не становится скучно, затем ложится на мою кровать и глядит в потолок. Пурви жалуется на постоянную усталость, на неизбывную тоску по дому, хотя дом у нее есть.

Свекровь качает головой.

— Дом мужа и родительский дом — это две разные вещи.

Оторвавшись от моей груди, малышка глядит на Пурви. Улыбается, демонстрируя беззубые десны.

— Ты ей нравишься, — говорю я. — Тебе тоже пора завести ребенка.

— Может быть. Но пока нам с тобой хватит и твоей малышки.

Пурви переворачивается на бок и выгибает спину, пока ее грудь не становится совсем плоской. Она умеет сплетать ноги так, что они оборачиваются вокруг друг друга дважды. Дилипу это не нравится. Он говорит, что ему страшно на это смотреть. Я гадаю, знает ли муж Пурви о ее

гуттаперчевых больших пальцах. Слышит ли он, как щелкают ее колени, когда она слишком долго сидит, а потом резко встает?

— Она очень похожа на тебя, — говорит Пурви.

Я смотрю на малышку. Из уголка ее рта течет струйка молочно-белой слюны. Растекается лужицей по ее шее, мочит воротник распашонки. Снова взглянув на подругу, я знаю, о чем она думает. Теперь все стало иначе. Малышка тянется к моей груди. Пурви наблюдает. Я чувствую себя голой и беззащитной. Я вдруг понимаю, что не хочу, чтобы Пурви была рядом. Не хочу, чтобы она находилась в моем доме. Мы с ней столько всего пережили вместе. Слишком много с ней связано воспоминаний. Я не хочу, чтобы она была рядом с моей дочерью.

Мы ужинаем в тишине, пока из спальни не доносятся вопли.

Малышка проснулась и пытается выпутаться из пеленок. Я еще не доела, но встаю и иду к ней. Беру ее на руки, подхватив чистой рукой. Вторая — грязная, мокрая от соуса. Я уже приноровилась управляться с ребенком одной рукой.

— Давай я ее подержу, — предлагает свекровь, — а ты спокойно поешь.

Я уже собираюсь кивнуть, но тут мама встает

и говорит:

— Дайте мне подержать маленькую Антару.

— Не надо, мам, — говорю я. — Садись, ешь. Я не голодная.

У меня громко урчит в животе, но я не обращаю на это внимания. Сажусь на кровать, достаю грудь. Малышка сосет молоко, звонко причмокивает. Соус уже засох у меня на пальцах. Пальцы сморщенные и желтые.

Я смотрю в окно и почти чувствую, как выхожу из него наружу, лечу вместе с ветром, вдыхаю свежесть воздуха после душной, застывшей комнаты, приземляюсь на ноги, спотыкаюсь и падаю, но сразу встаю, смахиваю с ладоней и коленей грязь и мертвых насекомых и бегу в конец улицы, где скучающий рикша курит биди, может быть, мне удастся его уговорить отвезти меня к Пурви за половину обычной цены.

Или нет.

Зачем мне к Пурви?

Я могу поехать куда угодно, и ничто меня не остановит. Можно пойти на вокзал, поздно ночью, где чайвалла продаст мне чашку чая за половину цены или, может быть, угостит меня чаем бесплатно — меня, одинокую девушку на пустынном ночном вокзале. Там я смогу подождать.

Там я смогу освободиться от всего и от всех. От вечно грязных рук, от той же самой еды изо дня в день, от моей мамы, которая путает меня с моей дочерью, от свекрови, что тихой сапой воцаряется в нашем доме. Даже от Дилипа. Я уже и не помню, когда мы в последний раз разговаривали по-настоящему.

Я открываю окно, теплый воздух врывается в комнату, прикасается к моему лицу. Воздух влажный. Мне неприятно это прикосновение. Лучше бы там, на улице, не было ветра.

У моей дочери черные волосы. Ее плечи покрыты мягким темным пушком. Во сне она причмокивает губами.

Окно открыто. Крошечное тельце упадет быстро, беззвучно. К утру все закончится. Не для того ли открыто окно? И если не теперь, не потихонечку под покровом ночной темноты, то когда?

Все-таки надо закрыть окно. Иначе малышку продует, она заболеет. Воздух в комнате густой, неподвижный, но на улице носится влажный ветер. Эта ночь не предназначена для матерей и младенцев. Она предназначена для всех остальных.

Окно по-прежнему распахнуто настежь. Малышка снова расплакалась. Это невыносимо.

Пусть она замолчит. Я знаю, как кричат младенцы, я не раз слышала детский плач, но моя дочь кричит хуже всех. Еще громче, еще настойчивее. У меня не получается ее успокоить. Свекровь как-то справляется. У нее получается. Надо было отдать малышку ей… Еще не поздно отдать малышку ей. Пусть забирает ее себе. Пусть увозит ее в Америку и растит, как растила Дилипа. Дилип пусть тоже уедет с ними. Я останусь одна, только с мамой и бабушкой. Я останусь одна и хоть чуть-чуть посижу в тишине.

Как выглядит мертвый ребенок? Наверное, просто как кукла. Кали Мата наверняка знала ответ. Она видела свою дочку живой, а потом мертвой.

Малышка не прекращает кричать. От этих воплей у меня напрягаются руки, немеют пальцы. Она вопит как резаная, и я снова выглядываю в окно. Глажу ее по спинке отяжелевшей рукой, смотрю на водосточные трубы, на балконы нижних квартир, на развешанное на балконах белье, на тихих птиц. Привратник где-то внизу, скрытый в сумраке, спит на посту.

Там, внизу, тихо. До земли совсем недалеко, но там гораздо тише.

Утром свекровь входит в спальню без стука и испуганно охает.

Малышка спит на полу, в гнезде из одеял. С кровати снято все белье, остался лишь голый матрас. Я сижу на краешке кровати и по-прежнему смотрю в окно.

Я тру руками лицо. Чувствую, что у меня покраснели глаза.

— Что случилось? — спрашивает свекровь. Ее глаза кажутся мутными за заляпанными стеклами очков. Взгляд мечется по комнате, зрачки похожи на двух черных рыбок, прыгающих в воде. Она видела, что ее сын спит на диване в гостиной, изгнанный из собственной спальни, с собственного супружеского ложа. И теперь она злится. Ей не нравится, что я не смогла обеспечить достойные условия для сна ее сыну и внучке.

— Она не спала на кровати. А на полу сразу уснула.

— Ты сама-то спала?

— Нет, почти не спала. Мне надо было подумать.

— О чем?

— Об именах. Надо дать девочке имя.

Она подходит ко мне ближе. Сейчас я ей не так отвратительна, как обычно. У нее почти дрожат губы.

— Я решила, что выбирать будете вы. Вы с Дилипом.

Ее лицо озаряется светом. Она не скрывает своего счастья.

— Правда?

— Зачем бы я стала говорить неправду?

— Я имею в виду, — говорит она, чуть успокоившись, — ты уверена, что действительно этого хочешь?

— Да, конечно.

Окна закрыто. Я не помню, когда решила его закрыть. Свет разливается по исцарапанному стеклу. Есть ли у меня право давать имя дочери после сегодняшней ночи?

У моей мамы красивое имя. Тара. Это значит «звезда», одно из имен богини Дурги. Как Кали Мата.

Она назвала меня Антарой не потому, что ей нравилось это имя, а потому, что она ненавидела себя. Ей хотелось, чтобы жизнь ее дочери была настолько отличной от ее жизни, насколько это возможно. На самом деле «Антара» означает «Не-Тара». Антара должна быть не такой, какой была ее мать. Но где-то в процессе нашего разделения мы с ней стали врагами.

Может быть, наши с ней отношения были бы

лучше, если бы она изначально не определила мне роль своей полной противоположности, призванной оправдать ее существование. Как мне самой избежать той же ошибки? Как уберечь свою дочь от такой тяжкой ноши? Может быть, это в принципе невозможно. Может быть, я просто тешу себя иллюзиями.

Малышка все же уснула. Она глубоко, тяжело дышит во сне. Воздух врывается в легкие, раздувает живот. Я подношу руку к ее носу. На мгновение мне кажется, что моя девочка дышит огнем, и решаю, что про себя буду звать ее Кали.

* * *

Если кормление — форма любви, то прием пищи — форма смирения. Любая трапеза — это беседа, и все, что не сказано вслух, остается в еде. В научных экспериментах мыши, которых держат на низкокалорийной диете, начинают пожирать друг друга.

В научных экспериментах крысы, сидящие в тесном замкнутом пространстве, отгороженном огнеупорной тканью, умирают через неделю.

Безусловно, надо учитывать многие переменные, но общий смысл ясен. Я распахиваю все окна и выставляю еду на столы.

Мы с Дилипом никогда не бываем одни. Мы почти не разговариваем, и супружеские обязанности отошли в прошлое. Мы просто пытаемся удержаться на плаву.

В те ночи, когда мне удается уснуть, мне снятся такие яркие сны, что, по сравнению с ними, утренние пробуждения кажутся вялыми и сухими, как ватные шарики. Все как будто подернуто дымкой, из мечети в конце нашей улицы несутся протяжные, заунывные призывы к молитве.

Свекровь сдувает с меня пылинки, изображает большую любовь. Называет меня красавицей, своим бесценным ангелом. Она, наверное, где-то прочла, что есть верный способ завоевать девушку, укравшую у тебя сына: заставить ее поверить, что она стала тебе дороже, чем собственный сын. Убить ее добротой.

Иногда мне действительно хочется всех убить. Вернее, не мне, а той версии меня, которая явно решительнее и сильнее меня настоящей. Моей мужской ипостаси. Я представляю, как это будет. Их тела брошены гнить. Из них вытекает кровь разных цветов, и Аникка довольна, что они мертвы. Она понимает, что так они красивее. Мы сжигаем их вместе, и сажа и пепел не касаются наших одежд.

Аникка. Мою дочку назвали Аниккой. Такой звук издают птицы при спаривании. Ее имя какое-то незавершенное, нью-эйджевое, бессмысленное. Когда я спросила, что оно означает, никто не смог мне ответить, но свекровь заявила, что, когда она вырастет и поедет учиться за границу, ее будут называть Анни, для краткости. Моя бабушка говорит, что это одно из имен богини Дурги, и я более-менее успокаиваюсь, но снова злюсь, когда забиваю ее имя в поиске, и первое, что он мне выдает — биография американской порнозвезды.

Дилип, уставший от моих вопросов, говорит:

— Если ты не хотела, чтобы я выбрал ей имя, то назвала бы ее сама.

Я знаю только одно: если ты заперта в четырех стенах в компании со столькими женщинами, запросто можно сойти с ума. Да, действительно можно сойти с ума, когда время дня определяется не по часам, а по уровню воды в вазе с цветами.

Каждый день я обнимаю Аникку и прижимаю к себе крепко-крепко, чтобы она запомнила на всю жизнь, сколько ей доставалось любви и ласки в самом раннем младенчестве. Она не запомнит процесс, но в ее подсознании должно отложиться ощущение тесной близости, некой мягкой

спрессованности, сужения кровотока, тепла от присутствия чьего-то другого тела. Младенцам нравится, когда их пеленают потуже, нравится ощущение компактного замкнутого пространства — все, что им напоминает о материнской утробе. Но малышка отнюдь не в восторге от этих нежностей. Она возмущается и протестует. Она еще не понимает, как ей повезло.

Хотя я уже сомневаюсь, точно ли ей повезло. Может быть, я ошибаюсь? Может быть, ей не хочется быть спеленутой моим телом? Может быть, когда кто-то целует тебя, ощущения от поцелуя не такие приятные, как когда ты целуешь кого-то сама? Я где-то слышала или читала, что маленьким детям мы, взрослые, кажемся страшными и противными, наша фактурная кожа и большие размеры внушают им отвращение. Я почти помню подобные ощущения из своего раннего детства — даже самые красивые взрослые представлялись мне гадкими и уродливыми. Может быть, уже в более старшем возрасте моя дочь без оглядки сбежит из дома. Может быть, наши матери всегда создают в нас какую-то недостаточность, которую мы потом передаем своим детям.

Мама наблюдает за мной, и я не могу разобрать выражение ее глаз. Иногда мне кажется, что она

осознает, что происходит, и пытается передать мне какое-то сообщение. Она ничего не сказала Дилипу о моих отношениях с Резой.

Дилип по-прежнему верит, что я нашла фотографию в маминых вещах и что этот снимок никак не связан со мной. Разве что опосредованно: как модель для моих рисовальных проектов. Дилип видел столько бессмысленных предметов искусства, что вряд ли станет доискиваться до смысла моих работ. Ему никогда даже в голову не придет, что мужчина, бывший любовником моей матери, впоследствии стал и моим любовником.

Ему даже в голову не придет, что у меня есть секрет, о котором я не рассказывала никому. Для Дилипа Реза — просто имя, произнесенное даже не мною, а мамой. Галлюцинация впавшей в деменцию женщины, чье разгульное прошлое известно всем.

Я ежедневно кормлю маму сахаром, и она поглощает его, как наркоманка. С каждым днем мама все больше и больше впадает в туманное забытье. Никто не понял, что на то есть причина — никто не провел никаких параллелей. Никто не верит в науку, если она не исходит от дипломированного врача, и обязательно в форме лекарственных препаратов. Никто не утруждает

себя изысканиями, никто не пытается доискаться до корня проблемы. Крысы. Крысы и мыши — ключ к пониманию того, что собой представляем мы, люди. То, что случается с крысой за десять дней, случится и с нами. Может быть, за десять месяцев или за десять лет, но непременно случится.

Люди, с которыми я живу, не задумываются о диетах, об инсулине, о кишечных бактериях, о целой солнечной системе, содержащейся в каждой молекуле нашего организма. Дилип и его мама считают, что я забочусь о своей маме, потакаю ее маленьким слабостям, потому что она нездорова, а пирожные и конфеты доставляют ей радость.

Разница между умышленным и неумышленным убийством заключается именно в наличии умысла. Но как доказать умысел, если нельзя залезть в голову к другому человеку? Распознать мотив тоже непросто. Кто станет спорить с тем фактом, что мама была мне единственным настоящим родителем и что мне, как любящей дочери, хочется доставить ей удовольствие, пока у меня есть такая возможность?

Мне уже ясно, что мама, по сути, ребенок. Она так и не повзрослела эмоционально, так и осталась на уровне подростка. В ней по-прежнему

играют гормоны. Она по-прежнему мыслит в категориях свободы и страсти.

И любви.

Она одержима любовью. Той любовью, что была у них с Резой. Но любил ли ее Реза? Он хоть раз говорил ей о своей любви?

Он ушел от нее, не задумываясь о том, что она будет чувствовать, когда поймет, что ее бросили. Стоит ли столько лет тосковать по такому мужчине? Неужели ей больше нечего делать, кроме как угрожать своей единственной дочери из-за человека, который предал их обеих?

Иногда, когда мне уже невыносимо находиться с ней рядом — когда ее слишком много, — я хочу, чтобы она умерла. Не насовсем, а на время. Умерла, а потом возродилась в том виде, который я сочту подходящим. Может быть, в виде собаки, которая будет повсюду ходить за мной.

Когда эти мысли приходят в голову, мне самой не верится, что я думаю о чем-то подобном. Я люблю маму. Люблю до смерти. Я совершенно не представляю, как буду жить без нее. Не представляю, кем стану без мамы. Если бы она не вела себя как последняя сука, я бы сразу вернула ее в строй.

К тому же сахар ее не убивает. Он ее успокаива-

ет. Без сахара мама становится раздражительной, непредсказуемой и, будем честны, несчастной. Как в тот раз, когда она вошла в мою спальню и стала рыться в моих вещах.

По крайней мере, я *думаю*, что сахар ее не убьет.

Я не хочу, чтобы она умерла. Иногда мне представляется, что, когда мамы не станет, я тоже исчезну. Просто исчезну, и все. Иногда в хаосе дней я и вовсе о ней забываю. Забываю, что она рядом. Мы все забываем. Забываем с ней разговаривать и не замечаем ее присутствия.

Все наблюдают, как я даю ей голубую таблетку, строго по часам. Никто не знает, насколько они бесполезны, эти таблетки. Я оставляю рецепт на столе, чтобы все видели, как хорошо я забочусь о маме. Неужели это и вправду так просто: кормить маму сладким, отравляя ее у всех на виду? Иногда мне кажется, что я все это делаю лишь для того, чтобы проверить, сойдет ли мне это с рук.

У мамы бессонница. Я даю ей снотворное, которое посоветовал врач. Поначалу снотворное вроде бы действует, но уже через несколько дней она начинает просыпаться посреди ночи, чтобы сходить в туалет. Я говорю врачу, что меня беспокоят ее ночные хождения. Она совсем сонная,

еле передвигает ноги. А вдруг она упадет? Вдруг упадет неудачно и сломает шейку бедра, пока весь дом спит? Врач говорит, что можно увеличить дозу снотворного. Теперь я даю маме по две таблетки, и она спит всю ночь, а иногда и все утро — и тогда просыпается ближе к полудню.

Звонит мой отец. К телефону подходит свекровь и не понимает, кто это такой. В первый раз она бросает трубку. Он перезванивает и объясняет, кто он и кем мне приходится. Свекровь зовет меня к телефону, вид у нее сконфуженный и слегка глуповатый. Я беру трубку, здороваюсь. Папа тихонько откашливается. Я не подаю виду, но мне приятно, что они оба в смущении.

Папа говорит, что знает о малышке и хочет с ней познакомиться.

Меня несколько обескураживает его выбор слов. Я говорю, что почти не выношу дочь из дома: только на прививки и когда надо отвезти маму к врачу. Он говорит, что это не проблема и он с радостью заглянет к нам в гости.

Он интересуется, как дела у мамы.

— Как-то не очень.

Папа молчит, и я представляю, как он кивает.

— Хотелось бы повидаться и с нею.

Я говорю маме, что на выходных к нам придет

папа.

Дилип улыбается.

— С нетерпением жду встречи.

Мама кивает и смотрит на мою свекровь.

— У моего мужа, — говорит она, — тяжелый характер. И у его матери тоже. Со свекровью всегда непросто. Лучше не выходить замуж, если можно этого избежать.

— Он давно не твой муж. А его мать умерла.

Мама кивает, как будто обдумывает услышанное, а потом вновь принимается за еду.

— Ты как-то не слишком стремишься облегчить ей жизнь, — говорит Дилип.

Мы в нашей спальне. Я отстегиваю съемную чашечку на специальном бюстгальтере для кормящих матерей. В этом бюстгальтере я себя чувствую, точно в сбруе. Аникка тычется ртом в мою грудь, вынюхивает молоко, находит сосок.

Когда рядом Дилип, я цензурирую свои мысли. Как объяснить мужу, что мы все — беженцы в этом доме и постоянно перекраиваем границы? Все какое-то зыбкое, ненадежное. Ни в чем нельзя быть уверенной. Вчера, когда я позвонила бабушке и сказала, что собираюсь нанять сиделку, она разрыдалась.

— Ничего не хочу знать.

Так она мне ответила. Эту фразу она повторила не раз. Нарушен естественный порядок вещей. Бабушка — самая старшая в нашей семье, она должна состариться раньше собственной дочери. Но мама состарилась первой и впала в старческое слабоумие. Каждый день мы понемногу теряем ее.

Эти мысли отзываются у меня в сердце уколом вины, но я упорно гоню их прочь. Внутреннее напряжение подавляет молокоотдачу.

Следующим утром Дилип вручает моей маме блокнот и ручку. Я наблюдаю, как он усаживает ее за обеденный стол.

— Пишите, — говорит он.

— Что писать? — Она глядит на него совершенно пустыми глазами.

— Что хотите. — Его голос исполнен терпения и доброты. — То, что записано, будет с вами всегда.

Она берет ручку, рассматривает со всех сторон. Потом долго глядит на желтый лист, разлинованный тонкими синими полосами. Проводит пальцами по первой странице, быстро пролистывает весь блокнот и хихикает, удивляясь, какой он толстый.

— Опишите ваш первый день в школе. Вы его помните?

Мама то ли кивает, то ли качает головой и смотрит на Дилипа, широко улыбаясь. Он гладит ее по руке.

— Что ты делаешь? — спрашиваю я, когда он садится рядом со мной на диван.

— Надо как-то подстегивать ее память.

— Я уже пробовала, и не раз. У нее дома повсюду рассованы бумажки с описанием разных историй из прошлого. Только это не помогает.

— Нам не надо подстегивать *твою* память, Антара. Речь идет о *ее* памяти. — Дилип повышает голос. Он никогда раньше не повышал на меня голос. У меня сводит руки. Малышка плачет.

— Из-за тебя я чувствовала себя совершенно паршиво, — говорит мама.

— Из-за меня?

— Да. В ашраме. Ты все время только и говорила, что об отце. Плакала целыми днями, не ела и не пила. Хотела к папе. Папа, папа, папочка. Всегда только папа. С самого рождения. Твое первое слово было не «мама», а «папа». Ты ждала у двери, когда он вернется с работы, как маленькая собачка.

Я озадаченно морщу лоб. Ее глаза сияют, и она кажется такой уверенной.

— Я такого не помню.

— Да, — кивает она и смеется. — Из-за тебя я чувствовала себя как последнее дерьмо.

* * *

Папа приобнимает меня за плечи и легонько толкает боком в бок. Отбирает у меня малышку, не спросив разрешения, даже не вымыв руки после улицы. Рядом с ее бледным личиком его пальцы кажутся особенно темными и волосатыми. Зеркала в гостиной демонстрируют мне папин затылок. Он зачесал волосы назад, чтобы было не слишком заметно, как они поредели. Его новая жена стоит чуть в сторонке, наблюдает за ним, обнимая сына за плечи одной рукой. Она улыбается, но ее губы растянуты как-то уж чересчур туго.

Свекровь предлагает новой жене чашку чая. Они заводят беседу, и мне кажется, что они рады присутствию друг друга в этой комнате, в этом доме, где они обе чужие. Тряхнув головой, чтобы выйти из ступора, я велю домработнице нести угощение. Мой мозг все еще набит ватой после родов.

Свекровь идет распорядиться на кухне. Она стала хозяйкой в доме.

В последнее время она наседает на Дилипа,

чтобы он подавал заявление о переводе обратно в Америку. «Поближе к дому», — говорит она. Они с Дилипом обсуждают этот вопрос, когда думают, будто я сплю или не слышу их из другой комнаты. Им невдомек, что слух у меня теперь как у совы и я способна услышать дыхание дочери даже с другого конца города. Это и значит быть матерью. Мои когти всегда наготове. Охота не прекращается ни на миг.

Я сажусь на диван. Все остальные еще стоят. Мои ягодицы растекаются по кожаному сиденью. Я вижу свое отражение в зеркале и отвожу взгляд. Мои обвисшие щеки похожи на брыли. Кожа на шее какая-то темная. Сквозь поредевшие волосы проглядывают залысины.

Папин сын садится напротив меня. Мы улыбаемся друг другу, не разжимая губ. Я вижу в зеркале, что у него длинные кудрявые волосы, собранные в хвост. Когда-то такие роскошные волосы были и у меня.

— Ты по-прежнему пишешь картины? — спрашивает он.

Я его не поправляю.

— Мне пока не до того.

Новая папина жена смеется и садится рядом с сыном. Они вдвоем запросто помещаются в

одном кресле.

— Когда появляются дети, на хобби времени не остается. — Она улыбается, растянув рот еще шире. Я не поправлю и ее. Она прикасается к волосам сына, словно зная, что я их рассматривала. — У современных детей своя мода, — говорит она.

Дилип наливает моему папе восьмилетний виски, привезенный из командировки. Папа отдает мне Аникку и сует нос в бокал. Дилип бодр и весел. Папа благостен и расслаблен.

Свекровь приносит поднос с чаем. Из кухни доносится запах горячего масла. Там уже жарятся самса и пакора.

Раздается звонок в дверь, и мы все вздрагиваем от неожиданности. Малышка ерзает у меня на руках, тычется личиком в мою хлопковую футболку. Она чувствует запах засохшего молока, запах собственной рвоты, который не убирают никакие стиральные порошки. Теперь от меня постоянно пахнет молоком. Молоком, рвотой и младенческими какашками. Эти запахи не смываются никогда.

Бабушка хочет войти в гостиную, но медлит в дверях. Смотрит на ноги присутствующих и наклоняется, чтобы снять туфли. Ремешки застегиваются на пятках, и ей приходится повозиться,

чтобы их расстегнуть. С трудом удерживая равновесие, она протягивает руку Дилипу, и тот спешит ее поддержать.

— Бабушка, не беспокойтесь, — говорит он запоздало, когда она уже почти расстегнула последний ремешок. — Вовсе не обязательно разуваться.

Она гладит его по щеке, потом смотрит на ноги моего отца — на его уличные туфли, которые он не снял при входе в дом, — и демонстративно отворачивается. В ее презрении есть что-то поистине царственное. Она кивает моему сводному брату и новой жене и приветствует мою свекровь, подняв руки. Нам с Аниккой достается самая светлая и искренняя бабушкина улыбка. Она подходит ко мне, и я вдруг понимаю, что я теперь больше похожа на бабушку, чем на маму. Мои лодыжки и запястья отекли и раздулись еще во время беременности и остаются раздутыми до сих пор. Я состарилась раньше времени.

Угощение готово, мы садимся за стол. Посуда расставлена, салфетки разложены. У всех по тарелкам растекаются разноцветные лужицы чатни: с зеленью, с чесноком, с кокосом, с тамариндом.

Бабушка открывает коробку конфет, которую

сама же и принесла. Прежде чем угостить всех остальных, берет одну конфету себе. Закатывает глаза, демонстрируя блаженство. Затем передает коробку моей свекрови.

В комнате слишком много людей. Я прошу Айлу открыть все окна.

— Очень приятно с вами познакомиться, — говорит свекровь моему отцу. Она протягивает ему коробку, и он одной рукой ломает конфету на две половинки. — Сначала мы даже не знали, что у Антары есть отец, так что мы рады знакомству.

Все умолкают. Дилип смотрит в стол, чтобы не встретиться взглядом со мной или со своей мамой. Новая папина жена выглядит обескураженной, но быстро приходит в себя, когда ей вручают коробку конфет. Она берет половинку конфеты, искалеченной ее мужем, и протягивает ее сыну. Он только что положил в рот пакору и отворачивается от сладкого. Новая папина жена терпеливо ждет, когда сын дожует и соизволит принять угощение.

Все молчат и улыбаются. Малышка пищит, взрослые с облегчением вздыхают, смеются, глядят на меня. Они рады, что малышка проснулась. Теперь все беседуют вполголоса. Дилип — с моим отцом и свекровью. Новая жена — со своим

сыном.

В общем-то, встреча проходит неплохо. Все довольны и счастливы. Или делают вид, что довольны и счастливы. У всех есть причины для такого притворства. Новая жена с сыном притворяются ради отца. Отец притворяется ради себя, может быть, даже ради меня и Аникки. У Дилипа, наверное, те же причины. Его мать притворяется ради него. Не притворяется только бабушка. Она вообще вышла из комнаты. Может быть, пошла проведать свою дочь. Ей не интересно изображать вежливость перед кем бы то ни было.

Мне тоже нет надобности притворяться. Я сижу тихо, я стала невидимой. Если кто-то и оборачивается ко мне, то лишь для того, чтобы взглянуть на малышку.

У меня ощущение, что меня здесь нет.

Дилип что-то говорит, мой папа хохочет, его плечи трясутся от смеха. Я сижу и гадаю, надолго ли им хватит сил продолжать этот спектакль. Когда же они наконец утомятся и сквозь маски притворства проступят их настоящие лица? Хотя, если спектакль затянется и все свыкнутся со своими ролями, наверное, это будет уже не спектакль? Может ли наигранная приязнь — или даже любовь — превратиться в приязнь насто-

ящую, если актеры вживаются в роли? Когда именно представление становится реальностью?

Опять звонят в дверь. Больше мы никого не ждем. У меня отвисает челюсть, когда в комнату входят Пурви и ее муж. Он тащит огромный пакет с игрушками. Насколько я вижу издалека, они все слишком большие, слишком опасные для Аникки.

Муж Пурви видит моего папу, подходит к нему, и они обнимаются, как старые друзья. Папа объясняет, что они знают друг друга по клубу. Пурви садится рядом с новой папиной женой. Они тоже знают друг друга по клубу и играют в бридж в одной команде.

Дилип подходит ко мне и забирает у меня Аникку.

Наверное, у меня все написано на лице, потому что Дилип говорит:

— Они хотят посмотреть на малышку.

Бабушкин голос заставляет нас всех обернуться. Она входит в комнату, ведет под руку маму. Бабушка улыбается маме, которая растерянно озирается по сторонам. Вдвоем они выглядят странно. Кто из них престарелая мать, а кто — дочь средних лет?

У меня щиплет глаза. Мне приходится отвер-

нуться, чтобы сдержать слезы. Как мы дошли до такой жизни?

По дороге, вымощенной мини-пирожными из «Мазорина».

Пурви подходит обнять мою маму. Мама гладит ее по спине, ее руки сползают все ниже и ниже и замирают на поясе пурвиных джинсов.

Муж Пурви наклоняется к уху Дилипа:

— Детям нравится трогать свои гениталии и задницы, и на то есть причина. Внутренние паразиты. Именно паразиты контролируют мозг.

Дилип укачивает малышку, глядит на меня. Затем обращается к маме:

— Мама, как вы себя чувствуете? Вы что-нибудь написали?

Она рассеянно улыбается и позволяет усадить себя за стол рядом с новой женой и ее сыном. Она им кивает и тянется за конфетой в коробке.

Приход Пурви и ее мужа — и, может быть, даже мамин выход к гостям — разрядил обстановку. Бисексуалка, жадный до власти делец и слабоумная дама заходят в бар. В комнате одиннадцать человек, но отражения множат нашу компанию почти до семидесяти. Кто-то невидим за мебелью или видим частично, как, например, сын моего отца, который там, в зеркалах, представляется

лишь дополнительной головой на теле его матери. Мою маленькую Аникку можно и не считать: всего лишь крошечный сверток из белого хлопка на руках у отца. Но я считаю и ее. Аникку передают из рук в руки, и я слежу за ней взглядом. Людей слишком много. В комнате не протолкнуться. Пространство сжимается. Окна открыты, но в доме все равно душно. Мне нечем дышать. Голова словно чугунная. Уровень углекислого газа, видимо, превышает все мыслимые пределы. Папа смеется и кашляет в ответ на что-то, сказанное свекровью. Он жадно дышит, втягивает в себя воздух. Почему он не удосужился вымыть руки, прежде чем прикасаться к Аникке? У Пурви раздуваются ноздри. Я наблюдаю, как она вбирает в себя весь оставшийся кислород.

Дилип наливает мужчинам виски, спрашивает у женщин, будут ли они вино. Поначалу они жеманятся, уклоняются от ответа, переглядываются друг с другом.

— Я бы не отказалась, — говорит бабушка, нарушая неловкую тишину. Все остальные кивают ей и улыбаются.

— Я тоже не откажусь, — говорит свекровь.

Из кухни приносят винные бокалы на длинных ножках. Дилип откупоривает бутылку красного,

и тут бабушка говорит, что пьет только белое. Он предлагает открыть и то и другое. Его мать и новая папина жена одобрительно улыбаются.

У всех налито. У всех, кроме меня и мамы. Даже мой сводный брат отпивает капельку виски из бокала отца. За все это время мы с папой не обменялись и парой слов. Он подносит свой бокал к лицу моего ребенка и внимательно слушает, что говорит муж Пурви.

— Дайте мне знать, когда в следующий раз соберетесь в Китай, — говорит папа и чешет пальцем макушку. — Мой добрый друг Каушал поселился там вместе с семьей.

— Твой добрый друг Каушал — старый извращенец, — говорю я.

Все умолкают так резко, что у меня звенит в ушах. Новая папина жена гладит сына по спине дрожащей рукой.

Папа моргает, глядя на меня. Поджимает губы.

— В каком смысле?

Я откидываюсь на диванную подушку. Не знаю, что говорить. Я ничего не планировала заранее.

Тишина явно затягивается. Я считаю секунды. Дохожу до семи, и тут свекровь зовет Айлу. Велит принести еще чатни с кокосом.

Все оборачиваются к ней и начинают говорить

одновременно. Только Дилип молчит и хмурится, продолжая укачивать Аникку на руках. Мама тоже молчит. Смотрит на меня. Ее глаза словно облиты сахарной глазурью.

У меня не укладывается в голове, как можно спокойно сидеть, есть и пить после моего заявления? Я поднимаюсь с дивана, не обращая внимания на боль в коленях, подхожу к окну.

Может быть, меня тоже считают больной на всю голову, как мою маму?

Может быть, мне поэтому и не верят?

Зачем я это сказала? Чего я ждала? Облегчения? Сочувствия? Кто из присутствующих в этой комнате может мне посочувствовать? Я смотрю вниз, на землю. Мысленно прикидываю расстояние. Я размышляла о том, чтобы выбросить в окно Аникку. Теперь эта мысль кажется мне отвратительной, страшной. Видимо, мне надо было самой выброситься в окно.

Я оборачиваюсь и смотрю на отражения гостей в зеркалах. Изучаю их профили. Раньше я не обращала внимания. У бабушки чуть крючковатый нос, у нас с мамой носы прямые. Мой папа и муж Пурви очень похожи, если смотреть на них в профиль. Практически одно лицо.

Мамин взгляд то мечется по всей комнате, то

утыкается в пол. Интересно, она вообще понимает, что происходит? Ей, наверное, трудно следить за разговором. Все говорят слишком быстро. Она разбирает слова? Или только улавливает интонации?

Я гадаю, узнала ли она папу. Они не сказали друг другу ни слова. Знает ли мама, что эта кудрявая женщина в очках — его жена, а молодой человек рядом с ней — их общий сын? Я хочу ей рассказать, но понимаю, что это бессмысленно.

Я подхожу к маме и кладу руку ей на плечо. Она легонько вздрагивает, но не оборачивается ко мне. Может быть, она даже не чувствует прикосновения, пребывая в каких-то своих мирах. Или, может быть, она знает, что это я. Знает, просто по тяжести моей руки.

Она говорит:

— Антара.

— Да, мама.

Я глажу ее по плечу.

— Антара.

— Да, я здесь.

Я наклоняюсь поближе к ней.

— Антара. — Вытянув палец, она указывает на Дилипа. — Дайте мне Антару.

Дилип улыбается и говорит:

— Мама, это Аникка. Антара рядом с вами.

— Антара.

Мама встает и идет к Дилипу.

Муж Пурви и папа отходят в сторонку, давая маме дорогу. Мама хлопает в ладоши и улыбается. Она на миг поднимает глаза на Дилипа и снова впивается взглядом в малышку.

Пурви смотрит на меня, кладет руку на грудь и шепчет одними губами: «Так мило».

— Дай мне Антару, — говорит мама. Дилип отдает ей Аникку, но не отходит. Держится рядом. Мама подносит сверток к лицу и целует малышку. Смотрит на моего папу и улыбается. — Это Антара, — говорит она. — Моя девочка.

Папа улыбается и кивает.

— Да, она очень хорошая. У тебя красивая дочка.

Свекровь выходит из кухни. Держит в руке бутылочку с молочной смесью. Проверяет температуру, приложив бутылочку к запястью, где самая нежная кожа.

— Давайте я покормлю Антару. — Она заговорщицки подмигивает мне.

Свекровь хочет забрать у мамы Аникку, но мама испуганно вскрикивает и прижимает малышку к груди.

— Нет, Антара — моя девочка. Мой ребенок.

Свекровь отступает, подняв руки вверх. В одной руке она по-прежнему держит бутылочку с соской. Бабушка подходит к маме и целует ее в лоб. Мама дает ей себя утешить. Она прижимается к Дилипу.

— Антара — наша доченька. — Мама смотрит на Дилипа и улыбается. — У нас с мужем ребенок.

Новая папина жена зажимает ладонью рот. Она стоит за спиною у мужа, держит сына за руку. В ее взгляде любопытство мешается с отвращением.

Аникка начинает ворочаться и кричать. Мама качает ее на руках.

— Хорошо, Тара, — говорит моя свекровь. — Покорми Антару сама.

Мама берет у нее бутылочку и подносит соску к губам Аникки. Малышка тут же прекращает кричать и сосет молоко. По-прежнему прижимаясь к Дилипу, мама улыбается бабушке. Я пытаюсь представить, что сейчас происходит в ее голове. Как ей самой видится эта сцена? Это плод ее воображения или воспоминание о счастливых мгновениях из прошлого, которые ей хочется пережить вновь?

Она трется щекой о плечо Дилипа. Он улыбается и вроде бы не возражает.

— Ты любишь Антару? — спрашивает она.

Дилип смеется.

— Да, я люблю Антару.

Мама с улыбкой глядит на малышку.

— А меня? — спрашивает она. — Любишь меня?

Дилип снова кивает.

— Люблю.

Свекровь тихонько смеется.

— Тара, мы все тебя любим.

Они все окружают ее, улыбаются ей и Аникке. Я вижу, что мама еще теснее льнет к Дилипу.

Я понимаю, что надо вмешаться.

— Послушай, мам. Антара — это я, а это — Аникка…

Пурви прикасается к моей руке.

— Не надо. Она не помнит, бедняжка. — Она тоже идет к моей маме. — Тара, давайте все вместе споем песенку Антаре?

Пурви хлопает в ладоши и заводит песню. Я улыбаюсь и только потом понимаю, что не знаю слов. Мелодия вроде знакомая, но я не помню, где слышала ее раньше. Они переходят ко второму куплету, и я теряюсь уже окончательно. Я не знаю, что это за язык. Точно не маратхи. Возможно, гуджарати. Но откуда бабушка так

хорошо знает гуджарати? Может быть, это какая-то бенгальская песня? Что-то из Тагора? Теперь поют все. Даже мама помнит слова. Мой взгляд натыкается на Дилипа, и от изумления я сажусь на пол. Дилип тоже поет и хлопает в ладоши.

Мой муж, который с трудом говорит на хинди, поет колыбельную вместе со всеми.

Песня тянется бесконечно, куплет за куплетом. Все незнакомые песни кажутся чрезмерно затянутыми. А затем она резко кончается. Все смеются, хлопают в ладоши и смотрят на маму с Аниккой. Все стоят ко мне спиной и загораживают от меня мою дочь.

Я поднимаюсь на ноги и вижу, что мама прижимает к себе Аникку одной рукой, а другой обнимает Дилипа. Пурви и новая папина жена держатся за руки.

Я снова чувствую себя невидимой и только потом замечаю, что мама смотрит на меня в упор.

Смотрит широко распахнутыми глазами и не моргает.

В комнате жарко, я оттягиваю ворот футболки. Мама по-прежнему не отпускает мою дочку и мужа. Она наблюдает за мной. У нее острый и ясный взгляд.

Мы глядим друг на друга. Мама молчит. Я мол-

чу.

Все остальные улыбаются и смеются. Они все еще напевают мелодию незнакомой мне песни, все еще играют в шарады. Маме все потакают. Ей дозволено все, что угодно, потому что она больна.

Но она не больна.

Она пытается переписать всю историю заново, без меня? Пытается вычеркнуть меня из памяти и из жизни? Я еще не успеваю додумать эту жуткую мысль, как уже чувствую, что испаряюсь.

Врач ничего не нашел. Никаких бляшек, никаких новообразований.

Они снова заводят песню, окружив маму с Дилипом плотным кольцом. Аникка в маминых руках кажется свертком белья из прачечной. Песня меня раздражает, незнакомый язык сводит с ума. Они уже дважды допели ее до конца и начинают по третьему разу. Никто не оборачивается ко мне. Меня как будто нет вовсе. Может, они избегают смотреть мне в глаза, чтобы не огорчать маму? Им не хочется разрушать чары.

Все рады за Тару и маленькую Антару. Они еще раз повторяют песню. Сколько раз требуется повторить представление, чтобы оно обернулось реальностью? Если долго разыгрывать ложь,

станет ли она правдой? В какой именно точке происходит подмена?

Я встаю и кричу, требую, чтобы они замолчали.

Меня не слышат, мой голос тонет в их громком хоре. Их голоса заглушают мой голос. Или мне лишь показалось, что я кричала, и мой голос застрял где-то в горле? Я пытаюсь заговорить и буквально физически ощущаю, как слова царапают гортань.

На меня больше не смотрят. Никто, даже мама. Воздух в комнате полнится ядовитыми испарениями. Наверное, именно так себя чувствует тонущий человек. Я кашляю, меня начинает тошнить. Но никто этого не замечает.

Я не хочу умирать. Только не здесь. Не сейчас. Не под эту песню. Мне нечем дышать, надо выйти на улицу. Мне надо выйти на воздух.

Вырвавшись из квартиры, я хватаю ртом воздух. Наклоняюсь вперед, свесив голову до колен. Ногу пронзает болью. После рождения Аникки меня постоянно мучает ишиас. Я зажимаю ладонью рот, чтобы заглушить крик. Голос, рвущийся у меня изо рта, чей-то чужой. Я ощупываю лицо. Мне нужно срочно увидеть свое отражение, чтобы убедиться, что я все еще существую.

Я вызываю лифт, яростно нажимая на кнопку. Двери расходятся в стороны, и напряжение отпускает. Я никогда раньше не замечала, как там уютно, в кабине лифта. Я вижу свои отражения на всех поверхностях — на стенах, на потолке, на полу. Лифт мягко едет вниз. На груди вся футболка промокла. Молоко льется впустую. Столько питательного вещества для Аникки пропало зря. Для моей девочки. Моей малышки Кали. Единственного на свете близкого мне человека.

Я выхожу со двора и прошу уличного торговца дать мне одну сигарету. Он смотрит на мокрые пятна у меня на груди, но ничего не говорит. Я бормочу, что отдам деньги потом, и он молча кивает.

Мостовая напоминает древние руины, и я понимаю, что выскочила босиком, только когда наступаю на что-то мокрое. Наверняка чья-то моча, звериная или человечья. Девочка в шортах хихикает в свой мобильный телефон. Она идет медленно, в ритме собственных слов. Видимо, ей говорят что-то смешное, открывают какой-то прелестный секрет. Она замирает на месте и тихонько смеется. Проводит рукой по бетонной стене, бесстрашно прижимает ладонь к грубой шершавой поверхности. Кажется, я ее знаю в ли-

цо, она живет в нашем доме. Но она старше, чем я ее помню. Ей лет четырнадцать, если не больше. Уже почти женщина. Бродит по улицам, просто гуляет без всякой цели, ей хорошо и удобно в собственном теле. Заметив, что я за ней наблюдаю, она улыбается, широко открыв рот, и я отвожу взгляд. Смотрю на свою промокшую футболку и запоздало смущаюсь. Я шагаю по улице, босиком по асфальту. Я еще не решила, куда иду, но по дороге все думаю об этой девочке, о ее улыбке. Что надо сделать, чтобы сохранить такую улыбку?

Интересно, дома уже заметили, что меня нет? Свекровь и новая папина жена наверняка будут рады, что я — худшее неудобство в их жизни — исчезла. Может быть, они воспользуются возможностью, чтобы сбежать: свекровь — с Дилипом и Аниккой, новая папина жена — с мужем и сыном. Если я вернусь прямо сейчас, может быть, я их уже не застану? Я представляю, как они смеются и пляшут у нас в гостиной, взывают к своим тайным богам, срывают с себя одежду и купаются в вине, все вместе, в некоем оргиастическом ритуале, который они не могли провести, пока я была рядом. В моем сердце смешались страх и тоска. В ногу что-то впивается, но я иду дальше, не обращая внимания на боль.

На улице шумно. Я смотрю по сторонам и не понимаю, где очутилась. Неужели город так сильно переменился с тех пор, как состоялось мое символическое погребение? Может быть, так и было задумано: собраться всем вместе и посмотреть, как я растворяюсь в ничто? Может быть, в этом-то и заключается смысл беременности? Смысл самого материнства. Появляясь на свет, ребенок вычеркивает из жизни ту женщину, что носила его под сердцем, и отменяет само ее существование.

Что было раньше? Не знаю. Я позабыла всю прошлую жизнь. Но я вижу, что будет дальше. Есть города, где мне хочется побывать. Есть места, где мне хочется спать: на деревьях, в дровяных сараях, на походных койках посреди заброшенных садов. Есть мужчины, с которыми я хочу заниматься любовью. Я помню, на что еще можно было употребить свое тело давным-давно, в незапамятные времена, задолго до появления растяжек на животе и трещин на сосках. И есть еще целая стопка листов с портретами Резы Пайна, которые я непременно сожгу, завершу начатое моей мамой, а после возьму чистый лист и увековечу на нем не его, а себя.

Ноги несут меня сами, все дальше и дальше от

дома. Я иду, словно вслепую, натыкаюсь на другие тела. Кто-то меня окликает, и я ускоряю шаги. Спотыкаюсь, бегу через улицу. Сквозь хрипы собственного дыхания слышу, как кто-то зовет меня снова. Тара.

Моя мама. Чем глубже она погружается в слабоумие, тем яснее становится ее цель. Как фотография с размытым фоном и очень четким изображением на первом плане. Дилип ей подыграл. Он не стал ее разубеждать, да и зачем бы ему ее разубеждать? Если он смог полюбить меня, то полюбит и ее. Мы с ней вполне взаимозаменяемы.

Мне никогда от нее не избавиться. Она у меня в крови, и против нее у меня нет и не будет иммунитета. Муж Пурви однажды рассказывал о насекомых, которые паразитируют на собственном потомстве. Весьма хитроумный подход: питаться зависимым от тебя существом, которое само к тебе льнет.

При взгляде сверху мои ноги смотрятся вполне нормально, но я знаю, что стопы стерты до крови. Асфальт снова мокрый — необъяснимо. Я озираюсь по сторонам. Человек, давший мне сигарету, пристально наблюдает за мной. Девочка в шортах стоит, прислонившись к бетонному забору, и со-

средоточенно смотрит в экран своего телефона.

Я стою у ворот.

Я никуда не ходила. Я все время стояла здесь.

Я вхожу в темный подъезд и на мгновение слепну после яркого солнца снаружи. Ноги словно налиты свинцом. Я вызываю лифт, вхожу в кабину. Вижу в зеркале, что молоко у меня на футболке высохло и пожелтело.

Я смотрю на свое отражение и вижу маму. Я киваю, и она кивает в ответ.

Я стою перед дверью в квартиру и слышу их голоса, доносящиеся изнутри. Дважды нажав на звонок, прислоняюсь к стене. Жду, когда меня пустят обратно.

Благодарности

Спасибо всем, кто поддержал эту книгу еще на этапе первых черновиков: сотрудникам агентства «Tibor Jones» и Университета Восточной Англии, особенно Нилу Мукерджи, Мартину Пику и Эндрю Коуэну. Спасибо Мэделин Кент, потому что иногда все очевидно, а иногда вовсе не очевидно. Спасибо Канишке Гупте, Рахулу Сони и Удаяну Митре за их потрясающую работу при подготовке индийского издания этой книги.

Спасибо Гермионе Томпсон, прекрасному человеку и замечательному редактору, чьими стараниями эта история стала гораздо лучше. Спасибо Саймону Проссеру и всем сотрудникам «Hamish Hamilton». Я очень вам благодарна за то, что вы поверили в эту книгу. Холли Овенден за замечательную обложку.

Спасибо Марии Кардоне Серра за неустанную помощь на каждом шагу. Спасибо Анне Солер-Понт и всем сотрудникам агентства «Pontas».

Спасибо друзьям и семье за поддержку и веру в меня. Особенно Нехе Самтани, Шарлин Тео, Кейт Гвинн и Манали Доши.

Спасибо бабушке за доброту. Бодхи, который изменил все. Моему мужу, который слышал мой голос на каждой странице. Моим родителям — за все, что есть я.